Асмодей Денница



ШИРИН

Из-за острова

18+

Асмодей Денница

ШИРИН. Из-за острова

«Автор»
2026

Денница А.

ШИРИН. Из-за острова / А. Денница — «Автор», 2026

Тёмное славянское фэнтези о девушке, которую не берёт вода, об атамане Степане Разине, который говорит с реками, — и о двери на дне Хвалынского моря, которую нельзя открывать. Но которую невозможно не открыть.С тех пор как Ширин, дочь начальника порта в персидском Астрабаде, научилась видеть мёртвых, она знает: вода её помнит. Утопленники выходят на берег только ради неё — и беззвучно шепчут одно-единственное слово: «Открой». Бабка-водяная предрекла ей судьбу рода: в тот день, когда город повернётся лицом к морю и с моря придёт беда, девушку бросят в волну. Она не утонет. Но морю от этого будет только хуже. Потому что Ширин — не жертва. Ширин — дверь.Когда на горизонте, над замершим, как перед прыжком, Каспием, встают чёрные паруса, Астрабад сгорает. Ширин теряет отца — вода забирает его, чтобы получить её. И выносит её на струг Степана Разина, атамана, которого не берут ни сабля, ни пуля, потому что он и сам давно заговорён водой.

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Дева на воде 5
Глава 1. Жемчужина на ладони 20
Глава 2. Чёрные паруса 34
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Асмодей Денница
ШИРИН. Из-за острова

Пролог. Дева на воде

«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…» — народная песня»

Во сне я умирала в воде.

Это не страшно — сны, они не страшные, пока в них не просыпаешься наполовину и не понимаешь, что вода холодная по-настоящему, что она пахнет тиной и солью на самом деле, что она смыкается над головой, как ладонь, — медленная, тёплая, всепрощающая.

Каспий у берегов Астрабада к зиме остывает, но в моём сне он был тёплым, как парное молоко. Темнота была не чёрной, а зеленоватой, слоистой, и в ней плавали светлые пятна — то ли медузы, то ли обрывки снов, то ли чужие лица. Я тонула не быстро. Вода не торопилась. Она ждала, когда я перестану барахтаться, и я честно старалась изо всех сил — потому что так положено, потому что человек, которого топят, обязан сопротивляться, иначе это будет не утопление, а согласие.

А соглашаться нельзя.

— Не тони, — сказал кто-то. Голос шёл снизу, из зелёной глубины, и он был ласковый, как у матери, которую я не помнила. — Не тони, сладкая. Тебя нельзя.

Я не поняла тогда, что она сказала. Слова в воде становятся тяжёлыми, падают на дно раньше, чем успеваешь их разобрать. Но рука, которая держала меня за щиколотку, была тёплой, и я поняла почему-то ясно и спокойно: не тонешь — значит, держат.

Потом меня вынесло.

Море выплюнуло меня, как косточку от персика, — просто и небрежно. Я лежала на спине на мелкой воде, и волна перекатывалась через лицо, не давая вдохнуть, но и не утаскивая вниз. Надо мной было небо: тяжёлое, серое, с рваными краями, и по нему плыл чёрный парус.

Я проснулась от собственного всхлипа. Соль во рту. Воды в лёгких не было — была только жажда: во рту пересохло, как будто я целую ночь глотала песок. Над Астрабадом ещё стояла тьма — та поздняя, густая, какая бывает только перед самым рассветом, когда даже петухи спят. Из-за дощатой перегородки доносилось ровное дыхание тёток — они спали, как убитые, так спят только женщины, уставшие жить чужим счастьем.

Я лежала и смотрела в потолок, и у меня дрожали руки.

Третья ночь. Третий раз за одну неделю — эта зелёная, слоистая темнота, эта вода, которая не хочет меня брать. Я знала, что так не бывает. Сны не повторяются дословно, а этот повторялся: тот же спуск, та же сильная рука на щиколотке, то же «не тони, сладкая», тот же чёрный парус сверху. Примета. Знак.

Дурное начало года — говорят на базаре, когда хотят сказать: будет беда.

Я села на циновке, обхватила колени и стала считать удары сердца, чтобы не думать. Раз, два, три — мимо дома шёл ночной сторож, постукивал палкой по ставням, кричал что-то гортанное про огонь и воров. Четыре, пять, шесть — где-то у причала плеснула веслом вода. Семь, восемь — и я вспомнила бабку Ширaз, которую в городе называли водяной, потому что она принимала роды у рыбачек и лечила утопленников, а иногда и мертвецов, выброшенных морем на отмель.

Вспомнила — и поняла, что мне нужно к ней. Не завтра. Сейчас.

***

Я не умею объяснить, как это началось. Врачи и муллы в Астрабаде сказали бы — дурной глаз, горячка, худое воспитание без матери. Отец счёл бы это ночными страхами, свойственными девушкам на выданье, и велел бы тёткам поить меня мятой. А я знаю, что всё началось с того дня, когда мне исполнилось тринадцать, и я впервые увидела по-настоящему.

Дело было у причала, куда я бегала встречать отца с вечерним дозором. Пришвартовалась лодка-рыбница, с неё сошёл человек — я помню его до сих пор, хотя прошло пять лет. Он был в мокрой рваной рубахе, босой, и вода стекала с него, как будто он стоял под дождём, хотя небо было сухим, а солнце — злым, по-осеннему жёлтым. Он шёл вдоль причала, и никто не поворачивался к нему, и вдруг я поняла: они его не видят. Совсем. Мальчишки шныряли у него под локтем, торговки зазывали сквозь него, как сквозь пустое место. А он шёл — медленно, с лицом человека, который очень устал и не знает, куда ему теперь идти, потому что никуда не надо. У самого конца причала он остановился, посмотрел на воду долгим взглядом и шагнул в неё. Без звука, без всплеска — просто вошёл, как входят в дом.

Я тогда не закричала. Я стояла, онемев, и смотрела, как на том месте, куда он вошёл, расходится широкий круг — хотя волна от него должна была быть маленькой, если она вообще должна была быть. А вечером на базаре я услышала, как торговец рыбой рассказывает: утром у причала опять нашли рыбака, которого прошлой осенью унесло штормом на турецких водах. Тело не нашли. Нашли только лодку — целую, сухую, будто её никто не покидал.

Говорили: «Вернулся, бедняга, посмотреть на дом».

Я молчала. Я видела, как он вернулся, — я видела, как он стоял у конца причала и смотрел на воду, и в глазах у него была такая тоска, что мне до сих пор нехорошо, когда я вспоминаю. С тех пор это и началось: я стала замечать их. Не везде и не всегда — но когда вода рядом, когда в воздухе есть сырость и соль, они выходят. Матросы с утонувших кораблей, рыбаки, которых не отдали море на похороны, отравленная невеста из соседнего квартала, хозяин харчевни, что утопился после того, как у него отобрали долг. Они выходят по одному, стоят у воды, смотрят на живых так, как смотрят на окно из тёплой комнаты на мороз — с тоской.

Никто в Астрабаде об этом не знал. Я научилась не смотреть в лица толпы, потому что среди них всегда попадаются заложные — и если задержать на них взгляд дольше мгновения, они поворачиваются. А когда они поворачиваются, им становится легче. А им не должно быть легче. Так мне говорила мамка, когда я была маленькой, прежде чем ушла к воде.

— Не гляди на них, рыбка моя, — говорила она, прижимая мою голову к своей груди. — Не гляди, и они не узнают, что ты их видишь. А узнают — потянутся. А потянутся — не отстанут. У них там тоска по живому, она сильнее голода.

— А куда они смотрят? — спрашивала я.

— На свои дома. На свою еду. На лица тех, кто их любил. — Мамка вздыхала, и у неё в глазах стояла такая же тоска, как у них. — Всё, чего они лишились, рыбка. Они смотрят на то, чего лишились.

Мамка ушла к воде, когда мне было девять. Она не умерла при людях — она просто ушла в один дождливый день на рынок и не вернулась. Через два дня выбросило у отмели её платок, синий, с белыми цветами, а на нём — ни следа. Мне сказали: несчастный случай. Я не поверила. Но я никому не сказала, что видела её на берегу — утром того же дня, когда нашли платок, она стояла у самой воды, смотрела на город, и тоска в её глазах была такая же, как у того рыбака. Она стояла долго. Потом обернулась — и посмотрела прямо на меня.

Я тогда отвела глаза. Я была маленькая и боялась сделать ей легче.

Иногда я думаю: а что, если бы я не отвела? Может, она бы осталась. Может, потянулась бы ко мне, и тоска ушла бы, и она бы вернулась на берег, насовсем, как возвращаются люди, которых любят. Я не знаю. Я долго считала, что убила её своим страхом, — пока не выросла и не поняла: она и так уже была на другой стороне. Платок нашли — а её не нашли. Заложные не возвращаются. Они только смотрят.

***

В ту ночь, когда мне в третий раз приснилась вода, я выскользнула из дома, не разбудив тёток. Мои босые ноги вошли в песок переулка — ещё тёплый, ночной, сберегший за день столько солнца, что оттепель слышалась под пяткой. Так всегда в Астрабаде: камень и песок помнят жар дольше людей.

Отец спал на крыше, как все мужчины в жару, и я не стала его будить. Я сбежала вниз по лестнице, мимо кухни, где сонно ворчала старая кухарка, перебирая горох, — и вышла в переулок. Ночной город был тёмен, но я знала его наизусть: каждый камень, каждую вмятину в стене, каждый тёплый угол, где спали собаки. Астрабад был моим, и я его любила, как любят родное место, — той любовью, что не замечает, пока не соберётся уходить.

На окраине, там, где дома сходились на нет и начиналось просто море, стояла хижина бабки Шираз. У неё не было двери, была занавеска из рогожи, пахло от неё прогорклым маслом и ладаном, и я не стала стучать — просто вошла, как входят в воду: сразу, целиком, не пробуя пальцем ноги.

Она не спала. Она сидела у очага — древняя, как соль, с лицом, изрезанным ветром в мелкую сетку, и перебирала в пальцах бусины чёток, которых никто в городе не видывал на ней раньше. В углу коптила лампада. Пахло травами, рыбой и ещё чем-то — тем особенным запахом, который я узнавала везде и который другие не чувствовали вовсе: запахом мокрых волос.

— Ты пришла, — сказала бабка, не оборачиваясь. — Садись, дева. Уж третью ночь мне твой сон во снах мешается.

Я не стала спрашивать, откуда она знает. В городе, где половина дел делается шёпотом, а половина — глазами, такие вопросы не задают. Я села напротив неё на перевёрнутое корыто и положила ладони на колени.

— Меня топят по ночам, — сказала я. — И не дают утонуть.

Бабка Шираз молчала долго. Бусины её чёток шли круг за кругом, и я уже решила, что она не ответит, как вдруг она заговорила — тихо, скрипуче, будто сквозь песок:

— Ты знаешь, отчего ты умеешь видеть то, чего нет?

Я знала. Этого нельзя было не знать. Я рассказала ей про рыбака у причала, про мамку, про тоску в их глазах. Она слушала, не перебивая, и когда я закончила, долго молчала, глядя в огонь.

— Оттого, что ты помечена, — сказала она наконец. — Ты из рода девы, которую кинули в море и которая не утонула. Это ваше семейное. Это не дар. Это заклад. Ты отдана воде ещё до рождения, милая, ты у неё в долговой книге, только на тебя она проценты не берёт — потому что ты не отдашь, пока сама не захочешь.

Я сглотнула. Во рту снова была соль, как во сне.

— Бабка Шираз, что это значит?

Она подняла на меня глаза — и я впервые увидела, что они у неё разного цвета. Один — как сухая земля, другой — как глубокая вода. Девочки во дворе говорили, что у водяной два глаза куплены в разных городах. Я раньше смеялась. Теперь не смеялась.

— Это значит, — сказала она медленно, с нажимом, будто вдавливая каждое слово в песок, — что тебя бросят. Не сегодня и не завтра, но бросят, потому что так ведётся: деву вашего рода всегда бросают, когда наступает срок. Бросят в воду с высокого борта, или с крутого берега, или через плечо, как ненужную вещь. Уже бросили — так водится — в день, когда твой город повернётся лицом к морю и с моря придёт беда. И ты не утонешь, Ширин. Ты не утонешь, хоть будешь лежать на воде, как щепка, и голодные воды будут кружить вокруг тебя, раскрывая рты. Не радуйся этому.

— Почему — не радуйся? — спросила я, и голос мой дрогнул. — Лучше же не утонуть...

— Лучше, — согласилась бабка. — Лучше. Но для них — нет.

Она кивнула куда-то в сторону моря, во тьму за занавеской, где невидимый прибой перебирал гальку, как чётки.

— Для них ты — дверь. Дверь не тонет, дитя. Дверь открывают. И когда тебя бросят и ты не утонешь — все они, все заложные, что стоят у воды с того дня, как вода стала помнить мёртвых, они придут. Ты откроешь. Не от радости — от жалости. И вот тогда, Ширин, ты поймёшь, что вода — это не то, что тебя ждёт. Вода — это то, что ты откроешь.

Я помню, как у меня перестало стучать сердце. Стояла ночь, пахло рыбой, и в углу коптила лампада, и древняя половина мира смотрела на меня глазом цвета воды, а другая половина — глазом цвета земли, и обе ждали.

— Что же мне делать? — спросила я. — Чтобы не открыть? Чтобы не быть дверью?

Бабка Шираз закрыла глаза.

— Ничего, — сказала она. — Ничего, дева. Дверь можно запереть, но нельзя перестать быть дверью. Зато можно полюбить того, кто подойдёт с правильной стороны, — и тогда он будет открывать тебя не как дверь, а как... — она осеклась, подыскивая слово, и покачала головой. — Не как дверь. Как ладонь. Ты поймёшь. Иди домой, сладкая. Спи. Завтра придёт большой день, и ты встретишь его, как положено тебе: с открытыми глазами.

После полуночи я вышла из хижины. Над морем занимался серый, неживой рассвет, и вода у берега была плоской, как медь, — без единой складки. Такой тихой я её не видела никогда. Тихий Каспий у Астрабада — это всё равно что тихий базар: значит, где-то уже взялись за ножи.

— Видишь? — спросила бабка Шираз из-за моего плеча. Она вышла следом, босая, и стояла, прикрыв ладонью глаза от рассветного света, хотя света почти не было. — Видишь, как вода обмерла? Ни одна рыба не плеснёт. Даже чайки ушли в горы.

Я не спрашивала, о чём она. На горизонте, там, где вода сходилась с тёмным небом, стояли чёрные паруса.

Их было много. И они не двигались — ветра не было вовсе, а они стояли, как стоят птицы на воде, изредка качнувшись, и каждая лодка медленно, по одной, будто считая, выгребала из-за острова на простор. Я насчитала их до тридцати и сбилась.

— Чьи они? — спросила я, и голос мой сел.

— Море не спрашивает, чьи, — ответила бабка. — Море спрашивает, по воду чью пришли. — Она помолчала и добавила, глядя на меня в упор: — Я тебе всё сказала, дитя. Дальше ты сама. И помни: дверь открывается изнутри. Никто не откроет тебя, пока ты сама не отопрёшь. Даже он.

Я хотела спросить, кто — он. Но бабка уже повернулась и ушла в хижину, и занавеска из рогожи упала за нею, как падает вода за кормой — ровно, без всплеска.

***

Утро в Астрабаде пахло жареным луком, смолой и рыбой. Это был самый честный запах города — густой, жирный, земной, от него никуда не деться, как от собственного имени. Я шла домой по улице, которая к рассвету уже налилась жизнью: торговки расставляли лотки, мальчишки таскали корзины с дынями, водонос катил бурдюк, оставляя на песке тёмную, быстро высыхающую змейку. Всё как всегда. Всё как всегда, а у меня в груди стояла холодная игла, и я не могла понять, откуда она взялась — то ли из сна, то ли из слов бабки, то ли из тех чёрных парусов, которых, кроме меня, никто не видел.

Или видели?

У городских ворот толпился народ. Стражники — полусонные, с копьями наперевес — о чём-то переговаривались с торговцами, и у всех лица были такие, как бывает, когда люди обсуждают то, во что боятся верить. Я замедлила шаг и прислушалась.

— …три дня пути, говорят, — басом гудел возчик, подперев телегу. — Взяли какой-то город на том берегу, аж до моря вышли. Людей повырезали, а кого не вырезали — к себе в лодки забрали.

— Брешут, — возразила торговка зеленью, но голос у неё дрожал. — Мало ли что брешут.

— Кому брехать-то? Караван с юга пришёл позавчера, сам видел. Купцы сахары, что шепчутся, а у самих глаза по ложке. Говорят, русы спустились по реке до самого моря, и море их носит туда-сюда, города жжёт. У них теперь шахского флоту страшатся, а шахский флот — их.

— Русы? — переспросила я негромко, сама не зная зачем.

Возчик глянул на меня сверху вниз — я была худая, босая, в ночной рубахе поверх которой накинула отцовский халат, — и смягчился:

— Русы, дева. Сказывают, атаман у них, из вольных казаков, что на Дону живут. Стенькой звать. — Он понизил голос. — Ни сабля его не берёт, ни пуля. Потому что он, слышь, с чёртом знается.

— С чёртом, — эхом повторила торговка и перекрестилась по-нашему, быстро и испуганно.

— С чёртом, — веско сказал возчик. — Иначе с чего бы ему по воде ходить, аки посуху?

Я отошла от ворот, чувствуя, как холодная игла в груди поворачивается. По воде ходить. Я стояла на воде всю ночь, во сне. У меня во рту снова была соль. Я выплюнула её, но она вернулась.

Дома меня ждал отец.

Он сидел во дворе под тутовым деревом, на одном из тех перевёрнутых глиняных горшков, которые он любил вместо стульев, и пил чай из пиалы — медленно, деловито, как пьют люди, которые знают, что хорошего чая много не бывает, а спешить некуда. Он был высокий, сухой, с лицом человека, много лет смотрящего на море, — обветренным, тёмным, с сеткой морщин вокруг глаз, и глаза эти, когда он поднял их на меня, были тёплые и внимательные. Отец никогда не кричал на меня. Он вообще редко повышал голос — море его научило, что крик на воде бесполезен, слышно только слово.

— Гуляла, — сказал он, и это был не вопрос, а утверждение, с той мягкой интонацией, когда отцу известно, где была дочь, но он делает вид, что спрашивает.

— Не спалось, — ответила я. — Ты же знаешь, я люблю рассвет.

— Ты любишь воду, — поправил отец, и что-то в его голосе дрогнуло. — Всю жизнь, дочка, ты любишь воду больше, чем положено. Мать твоя была такая же.

Он сказал это просто, без горечи, но у меня сжало сердце. Отец редко говорил о матери. Он говорил о ней так, как говорят о человеке, которого любили очень сильно и очень давно потеряли, — бережно, как о хрупком, дорогом сосуде, который нельзя трясти.

Я села напротив него на второй перевёрнутый горшок. Тётки уже хлопотали в доме — доносился звон посуды, запах лепёшек, недовольный голос старшей, Айши, которая всегда всем была недовольна, потому что такова её должность в доме моего отца. У нас жили три тётки — сестры покойной матери, — и они вели хозяйство, растили меня и тихо воевали между собой за право быть главной скорбью о моей мамке. Я их любила. Я любила даже Айшу, хоть она и пилила.

— Отец, — сказала я. — У ворот говорят про корабли. Про русов, что пришли с севера по большой реке. Говорят, они город взяли на том берегу.

Отец помолчал. Он поставил пиалу, посмотрел на небо, на солнце, которое поднималось над крышами, и лицо его на миг стало совсем старым — не от возраста, а от того, что он знал, о чём я говорю, и знал это, признаться, не от меня.

— Знаю, — сказал он. — Мне сегодня ночью дозорный с маяка доложил. Стоят на рейде, не подходят. Пока не подходят.

— Их много, — сказала я. — Больше, чем я насчитала.

Отец поднял на меня глаза — внимательно, изучающе, как он смотрел на горизонт, когда решал, какому ветру верить.

— Откуда ты знаешь, дочка, сколько их?

Я отвела взгляд. Это была ошибка — отвечать нечестно, я не умела. Отец всегда видел меня насквозь, и разговор про море, про мать, про то, что я «люблю воду больше, чем положено», — это был разговор про то, о чём мы оба молчали много лет.

— Сон видела, — сказала я наконец. — Будто их много, и будто они по одну сторону, а я — по другую, и вода между нами не держит.

Отец долго молчал. Потом поднялся, подошёл ко мне и положил свою тёплую, шершавую ладонь мне на макушку — так, как делал, когда я была маленькой и боялась грозы.

— Сон — это сон, — сказал он. — А корабли — это корабли. Утром я отправлю гонца в Решт, к шахскому наместнику. Пусть пришлёт флот. А ты, дочка, — он наклонился и поцеловал меня в лоб, — не смей больше бегать к воде по утрам. Слышишь? Не смей. Море сегодня недоброе.

— Отец, я не боюсь моря.

— Я знаю, что ты не боишься, — сказал он. — Я боюсь за то, кого море к тебе приведёт.

Он ушёл в дом, а я осталась сидеть под тутовым деревом, и слова его повисли в воздухе, как пыль в солнечном луче. «Я боюсь за то, кого море к тебе приведёт». Отец знал. Отец всегда знал больше, чем говорил. Я вдруг поняла, что все эти годы, все эти молчания о матери, о моих ночных прогулках, о моей «любви к воде» — это был вовсе не страх за мою репутацию. Это была охрана. Он охранял меня от того, чего я сама не понимала.

День прошёл как во сне. Я помогала тёткам, ходила на базар за травами, сидела с шитьём — и всё это делала, не проживая, потому что где-то на дне сознания, как рыба подо льдом, ходило и ходило: они стоят на рейде. Тридцать, а может, больше. И вода между нами не держит.

К вечеру я не выдержала.

Тётки уснули рано, отец заперся у себя со счётами и бумагами — он всегда так делал, когда ждал плохих вестей, пересчитывал баланс порта, будто мог свести его в плюс усилием воли. Я выскользнула во двор, через заднюю калитку — и пошла не к морю, а в другую сторону, туда, где за глиняными стенами лежало старое кладбище, а за ним — песчаный мыс, с которого видно было дальше, чем с любого причала.

Меня не тянуло туда. Меня вело.

На мысу было пусто. Ветер, впервые за весь день, поднялся — ровный, тяжёлый, с моря, и я обрадовалась ему: ветер — это жизнь, это движение, это значит, что вода не замерла намертво, что она ещё дышит. Я подошла к самому краю обрыва. Внизу, далеко, разбивался о камни прибой, седой от пены.

И тогда я их увидела.

Они не выходили из воды — они стояли в ней, по пояс, по грудь, рядами, будто войско, ожидающее команды. Рыбаки в мокрых рубахах, женщины с распущенными волосами, дети, которых я не знала и знать не хотела, — все они стояли лицом к морю, к тем чёрным парусам, что темнели на горизонте в последних лучах заката, и все они, до единого, молчали. Молчали так, как молчат люди, когда ждут чего-то такого, что не хотят называть вслух.

Сердце моё стучало где-то в горле. Я не делала ничего. Я стояла и смотрела, и они не поворачивались ко мне — это было странно, потому что обычно они чувствовали мой взгляд. А теперь они все смотрели туда, на паруса. Как будто паруса — это и есть то, чего они ждут.

— Гляди, — раздался голос рядом. Я вздрогнула. Рядом со мной, на самом краю обрыва, стояла девушка — незнакомая, в мокром платье, с чёрными волосами, облепившими лицо. Она была молодая, может, на год-два старше меня, и она была мёртвой — я это чувствовала

кожей, тем особым холодом, который идёт от них, как сырость из подвала. Но она не смотрела на паруса. Она смотрела на меня.

— Ты меня видишь, — сказала она, и это не было вопросом. — Ты единственная, кто видит. Я ждала тебя три дня.

Я хотела отступить, но ноги не слушались. Так бывает со мной у воды: когда заложные рядом и смотрят прямо, я не могу двигаться, пока не отвечу. Это правило. Я не знаю, откуда оно, но я его выучила: нельзя молчать, когда они смотрят и ждут.

— Кто ты? — спросила я, и голос мой был тихий, как ветер.

— Лейла, — сказала девушка. — Из дома керманского торговца, что на Менном базаре. Меня утопили в цистерне неделю назад.

У меня внутри всё оборвалось. Цистерна. Я вспомнила: неделю назад на базаре было шумно, говорили, что утонула дочь торговца, упала в цистерну с водой ночью. Говорили — недобрая смерть, без свидетелей, такая смерть, от которой людям не по себе, потому что тело нашли только на третий день.

— Зачем ты ждала меня? — спросила я.

Лейла улыбнулась — мокрой, странной, неживой улыбкой, от которой у меня похолодела спина:

— Чтобы сказать тебе. Они пришли не за городом. Они пришли не за добычей, не за женщинами, не за золотом, хотя возьмут и золото, и женщин, и город. Они пришли за тобой, сладкая. Тот, кто идёт по воде, — он идёт за дверью. А дверь — это ты.

— Откуда ты знаешь?

— Они сказали. — Лейла повела рукой в сторону моря, где стояло молчаливое войско. — Они сказали нам вчера ночью, когда вода начала говорить. Все, кто ждёт, — мы все слышали. Река приказала нам ждать тебя.

— Река? — переспросила я. — Это море. Каспий.

— Это не море, — сказала Лейла, и глаза её на миг стали глубокими, тёмными, как вода в колодце. — Это не море, Ширин. Это река, которая забыла, что она река, и решила, что она море. Но вода помнит. Вода всегда помнит, откуда пришла. И она помнит, что ты — её.

Она шагнула вперёд, к обрыву, и я впервые по-настоящему испугалась — не за себя, а той полной, ледяной ясностью, что от этой девушки, от этого войска, от этих чёрных парусов некуда деться. Что всё, о чём говорила бабка, — правда. Что я не выдумала рыбака у причала и мамку у воды. Что я — дверь, и она уже открывается, или уже открыта, и просто я об этом ещё не знаю.

— Куда ты? — крикнула я, когда Лейла шагнула с обрыва. Но она не упала. Она вошла в воздух, как входят в воду, — и растворилась, и только ветер донёс до меня, уже издалека, её голос:

— Жди завтрашней ночи. Придут. Не бойся. Ты не утонешь, сладкая. Ты не утонешь.

Я стояла на мысу, пока не стемнело совсем. Паруса на горизонте стали невидимы — просто тьма и вода, слитые в одно. Войско у воды ушло под воду так же, как пришло, — без всплеска, без следа. Ветер стих. Каспий снова лежал плоский, немой, как медь.

Я вернулась в дом по тёмным, спящим улицам, и отец не спал. Он ждал меня у калитки, и в руке у него был узелок с вещами.

— Утром, — сказал он, не давая мне заговорить. — Утром, до свету, я отвезу тебя в горы, к сестре твоей матери, в Каа. Там нет моря. Там ты будешь в безопасности, пока не уйдут корабли.

— Отец…

— Не спорь, — сказал он, и в голосе его было столько стали, сколько я не слышала никогда. — Я знаю, что ты видишь. Я знаю про твою мать. Я знаю, почему она ушла к воде, а не умерла в постели. И я не дам тебе повторить её судьбу, слышишь? Не дам.

Он прижал меня к себе — крепко, жарко, как в детстве, — и я уткнулась лицом в его пропахшую смолой и морем рубаху и расплакалась впервые за много лет. Не от страха. От любви. От того, что он всё знал и всё это время охранял меня от правды, которую я носила в себе, как ношу носят, не зная, что она чужая.

— Прости меня, — сказала я. — Я не хотела, чтобы ты боялся за меня.

— Глупая, — сказал отец. — Я боюсь за тебя с той ночи, когда ты родилась и твоя мать посмотрела мне в глаза и сказала: «Она моя, Ильяс. Она вся моя. Береги её от воды». Что я мог? Я берёг. Я берёг тебя семнадцать лет. Ещё одну ночь продержусь.

Он поцеловал меня в лоб, развернул и легонько подтолкнул в дом:

— Спи. С рассветом выезжаем. Всё будет хорошо.

Я легла на свою циновку, укрылась с головой и закрыла глаза. Но вместо зелёной, тёплой воды мне снилась чёрная, холодная, и в ней мерно, как сердце, открывалась и закрывалась дверь — огромная, на самом дне, и все, кого я видела за всю свою жизнь, стояли перед ней, повернувшись ко мне лицами, и ждали, когда я приду и открою. И среди них, в самом первом ряду, стояла мать — живая, молодая, с глазами цвета глубокой воды, и она улыбалась мне, и шевелила губами, и я знала, что она говорит:

— Не открывай, рыбка. Не открывай. Держи.

Я проснулась с криком, но до рассвета оставалось ещё много времени, и тётки ворочались на своих постелях, не просыпаясь, и отец сидел у калитки, не смыкая глаз, с узелком на коленях.

Дальше всё случилось быстро, как вода уходит из-под ног на отмели — не успеваешь, а уже глубоко.

Мы выехали до свету. Отец взял двух лошадей — старую, надёжную гнедую для меня и горбоносую, горячую, для себя, — и мы пошли в горы, той караванной тропой, что с севера огибает болота и выводит к Каа, к сестре матери, тётке Зубейде, что держит маслобойню и не верит ни в бога, ни в шайтана, а только в хорошее масло. Отец всю дорогу молчал. Он молчал так, как молчат люди, которые везут что-то очень хрупкое и очень опасное и боятся спугнуть собственный голос. Я тоже молчала. Мне было страшно, но не так, как бывает страшно девочке от темноты, — а так, как бывает страшно, когда уже знаешь, что тебе есть от чего прятаться, но ещё не знаешь, от чего именно.

Море осталось позади — серое, плоское, немое. К полудню мы поднялись выше, зелень гор, обожжённая солнцем, стала выше и суше, потянуло можжевельником и нагретой хвоей. Каспий остался внизу, в дымке, как чужой сон. Я думала: больше я к нему не вернусь. Не вернусь — и не открою, и не приду, и не стану дверью. Пусть паруса сколько хотят стоят на рейде. Без меня они ничего не сделают.

Как же я была глупа.

Мы не дошли до Каа. На полпути, у горной речки, где тропа подходила к самой воде, лошади вдруг остановились как вкопанные. Не испугались — остановились, будто упёрлись в невидимую стену. Отец дёрнул повод, гнедая захрапела, попятилась, вскинула голову — и я увидела, что она дрожит. Мокрая. Вся мокрая, хотя воды рядом не было — только ручей в трёх шагах.

— Стой, — сказал отец странным, чужим голосом. — Не слезай. Не подходи к воде.

Я и не собиралась. Я смотрела на ручей — и видела, что он течёт не в ту сторону.

Ручей бежал под гору, как и положено ручью. Но по верху, по самой поверхности — там, где вода встречается с воздухом, — струя двигалась в обратную сторону, вверх по склону, тонкая, серебристая, послушная неведомой силе. Как будто поверхность воды была отдельным существом и ему было не по пути с ручьём.

— Отец, — прошептала я. — Вода…

— Знаю, — сказал он, и голос у него был ровный, как у человека, который давно ждал этого и теперь просто не даёт себе испугаться. — Не смотри. Не смотри на неё, дочка. Она тебя слышит.

Но я уже смотрела. Я всегда смотрела. И поверхностная струя почувствовала мой взгляд — замедлилась, изогнулась, потянулась ко мне, как тянется к свету плющ, — и вдруг, у самых моих ног, вода в ручье стала подниматься столбиком, тонким, прозрачным, беззвучным. Выше. Ещё выше. На высоту моего колена. Моей талии. Моей груди.

— Ширин! — крикнул отец. — Ширин, не смотри!

— Я не могу не смотреть, — сказала я, и это была правда. Я не могла. Отвести взгляд от воды, когда она тянется к тебе, — это всё равно что отвести взгляд от матери, которую узнал после долгой разлуки. Внутри меня что-то знало, что эта вода — своя, родная, что она меня помнит, что она ждала меня и зовёт.

Столбик воды замер на высоте моей груди. Он был ровный, гладкий, как стекло, и в его глубине, в самой сердцевине, я увидела лицо.

Женщина. Незнакомая и одновременно до боли знакомая — та, что снилась мне во сне и стояла в первом ряду у двери. Моя мать. Молодая, как на картинке, которую отец прятал от меня все эти годы в сундуке, — но живая, подвижная, и вода хранила её, как хранит камень в своей глубине раковину, в которой когда-то жило живое.

— Рыбка моя, — сказала она, и голос шёл не из столба воды, а откуда-то из-под земли, из-под камней, из самого русла, и он был такой, каким я помнила его и не помнила одновременно — тёплый, низкий, чуть хриплый. — Зачем ты уходишь от меня?

Я не могла дышать. Я смотрела на неё, и у меня по щекам текли слёзы, а она улыбалась мне из воды, и улыбка её была родная и страшная одновременно.

— Мама, — сказала я. — Я думала, ты умерла.

— Я не умерла, рыбка, — сказала она. — Я стала. Так, как должна была стать моя мать, и мать её матери, и все женщины нашего рода с тех пор, как первую из нас кинули в море и она не утонула. Мы не умираем, рыбка. Мы ждём. Ждём ту, что придёт после. Ждём ту, что откроет.

— Откроет что? — Я слышала свой голос будто со стороны, тонкий, детский. — Мама, откроет что?

— Дверь, — сказала она. — Дверь на дне. Ты придёшь к ней. Не потому, что тебя приведут. Потому что придёшь. И когда придёшь — не отпирай. Сколько бы они ни просили, сколько бы ни плакали, не отпирай. Мир, который стоит за дверью, — он не для живых, рыбка. Он для нас. А ты — живая. Ты должна жить.

— А если они заставят?

Она рассмеялась — тихо, водой, перебирая гальку:

— Заставить нельзя, рыбка. Отпереть дверь можно только самой. Своей рукой, по своей воле. Поэтому никому не дай своей воли. Никому, слышишь? Ниже-то…

Голос её пошёл рябью, столб воды вздрогнул, начал опадать — и вдруг, рывком, как будто кто-то сильный дёрнул его снизу, ушёл в русло, и только круги побежали по ручью, и понесло по ним щепку, сверху вниз, как и положено течению.

— Мама! — крикнула я, рванувшись вперёд.

— Стой! — Отец железной рукой поймал меня за плечо, прижал к себе. — Стой, не ходи туда. Хватит. Слышишь, хватит!

Я билась в его руках, как рыба, и плакала, а отец держал меня и повторял, как заклинание, в мои волосы:

— Тихо, тихо, рыбка. Она не хотела тебя напугать. Она тебя любит. Она тебя очень любит, чтобы сказать такое. Она знает, что делаешь ты, когда любишь, — ты говоришь правду, даже если она страшная.

— Отец, она сказала «ниже»… — Я всхлипнула и замолчала, перебирая в памяти её слова. — Она сказала: «Ниже-то…» Она не договорила. Она хотела сказать, что будет ниже. Что-то ниже. Глубже? На дне? Что там?

Отец долго молчал. Лошади успокоились, фыркали, перебирали ногами, и ручей снова был просто ручьём — тёк себе вниз, серебряный, честный, без обратных течений и говорящих матерей.

— Не знаю, дочка, — сказал он наконец. И по голосу я поняла, что он впервые за много лет сказал мне чистую правду, без защиты. — Не знаю. Твоя мать не договорила. Твоя бабка, когда уходила в воду, говорила моей матери что-то про дно. Но никто из них не вернулся рассказать. Кроме твоей матери — и она не успела.

— Почему она не успела?

— Потому что я забрал тебя. — Он смотрел мне в глаза, и я видела в них слёзы, которых он никогда не позволял себе при мне. — Я забрал тебя у воды, когда тебе было девять. Я не дал ей уйти за тобой. Это я. Это моя вина, если здесь есть вина. Но я не мог отдать тебя. Ты — моя, ты — живая, и я не отдам тебя никакому дну, слышишь? Никакому.

Он дышал тяжело, как после долгого бега. Я прильнула к нему, и он обнял меня, и мы стояли так на горной тропе у ручья, пока лошади не зафыркали снова и не замахали хвостами, и небо над нами не потемнело.

— Всё, — сказал отец, отстраняясь и вытирая лицо ладонью. — Хватит. Едем в Каа. Там ты будешь в безопасности. Там вода — только в колодце, и то по ведру.

Но до Каа мы не доехали и во второй раз.

На перевале нас ждали. Три всадника вышли из-за скал, когда тропа сузилась, — в пыльных кафтанах, с кривыми саблями, с лицами, закрытыми до глаз платками. Разбойники. Здесь, на перевалах, их было меньше, чем у моря, но они были, как и везде. Отец остановился, положил руку на рукоять ножа — спокойно, без суеты, как человек, который ношу свою носил и умеет ею пользоваться.

— Отдай девку, — сказал старший, и голос у него был гнусавый, как у человека, который гнил изнутри. — Отдай девку, и поедешь дальше с лошадьми. А не отдашь — лошадей твоих возьмём, и девку твою возьмём, и тебя, старика, на съедение воронам покинем.

— У меня нет денег, — спокойно сказал отец. — Только лошади и дочь. Лошади ваши, если хотите. Дочь — нет.

— Мы не за деньгами, — сказал гнусавый, и от того, как он это сказал — весело, играючи, — у меня по спине пробежал холод. — Нам сказали: на перевале будет девка. Чернявая, глазастая. Взять её и везти к морю. Кто приказал — не наше дело. Наше дело — взять и привезти.

Отец не ответил. Он соскользнул с лошади — плавно, как сходит в воду, — и выхватил нож. Нож у него был длинный, кривой, с выщербленной рукоятью, и отец держал его так, как держат вещь, которой дорожишь: бережно и не выпуская.

— Дочка, — сказал он, не оборачиваясь. — За моей спиной. Несись в Каа. Не оглядывайся.

— Отец…

— Несись! — крикнул он, и гнедая подо мной прыгнула с места, как ошпаренная.

Я не помню, как мы летели по тому перевалу. Помню ветер, соль в глазах, помню крики за спиной, свист сабли, конское ржание — и больше ничего, пока гнедая не споткнулась на спуске и не выбросила меня из седла. Я упала на камень, ушибла плечо, в голове загудело, и когда я поднялась, шатаясь, — за спиной у меня поднимался дым.

Чёрный, густой, жирный — горело там, где мы оставили отца.

Я помню, что бежала назад. Не думала, не решала — бежала, как бежит вода вниз по склону, без выбора. Гнедая, обезумевшая, неслась мимо меня в сторону города, поводья воло-

чились, и я знала, что лошадь я больше не увижу. Камни рвали босые ноги, ветер драл лёгкие, а дым впереди становился всё гуще, и когда я выбежала на перевал, то увидела:

отец стоял на коленях у края обрыва, живой, целый, — а вокруг него, полукругом, стояли те трое. Они не убивали его. Они стояли и смотрели, как он смотрит вниз, в ущелье, где в тумане угадывалась вода — горная речка, та самая, что текла вспять утром.

— Посмотри на неё, — говорил гнусавый, и голос его сочился довольством. — Посмотри, как она течёт. Куда надо. Она тебя помнит, старик. Она тебя ждёт. Она знает, что ты увёз её дочку, и она на тебя обиделась.

— Она не обижается, — тихо сказал отец. — Воды не обижаются. Они помнят.

Он поднялся с колен, повернулся ко мне — и я увидела его лицо, спокойное, как у человека, который уже всё решил. Он смотрел на меня, и в глазах его была такая любовь, что у меня захолонуло сердце, потому что так смотрят при прощании.

— Дочка, — сказал он негромко, не обращая внимания на разбойников. — Я сделал, что мог. Я берёг тебя семнадцать лет. Прости меня за то, что не уберёг до конца.

— Отец, не говори так. — Я шагнула к нему, и гнусавый перехватил меня за руку — цепко, как коршун. — Пусти!

— Держи девку, — сказал он двум другим, но те не двигались. Они смотрели мимо меня — вниз, на речку, на туман, и лица у них под платками были странные, неживые.

И тогда я поняла, что мы стоим не одни.

Вода.

Она не выплёскивалась из берегов, не рвала камни — нет. Она просто текла, как и положено, но текла полнее, быстрее, и в ней, в серой горной воде, поднимались силуэты. Люди. Рыбаки в мокрых рубахах. Женщины с волосами, тянущимися по течению, как водоросли. Дети. Они шли по воде вверх, против течения, как по дороге, — молча, рядами, и глаза у них были открыты, и все они смотрели на отца.

— Видишь? — ласково сказал гнусавый. — Она за ним пришла. Она всегда приходит за своими.

— Отец! — крикнула я, рванувшись, и разбойник дёрнул меня назад, прижал локтем к груди. — Отец, беги, они же тебя не тронут, если ты побежишь! Беги!

Но отец не побежал. Он стоял на краю обрыва, глядя вниз, на процессию, поднимающуюся по воде, — и лицо его было лицом человека, который наконец-то понял то, что должен был понять много лет назад.

— Ты был прав, — сказал он, и я не поняла, кому он говорит. — Ты был прав, когда сказал, что я не дам ей уйти за мной, и что это моя вина. Я думал, что спасаю её. А я просто отсрочивал.

— Отец, что ты говоришь?!

— Дочка, — сказал он, поворачиваясь ко мне, и в голосе его была такая тихая, такая спокойная сила, что я перестала дышать. — Она не заберёт меня. Она заберёт тебя, если я не заберу её место. Ты понимаешь? Она пришла за тобой. А я — я старый, я своё пожил. Пусти, — сказал он гнусавому, и голос его был ровный, как лезвие. — Я сам подойду. Только дай мне попрощаться с дочерью.

Разбойник хмыкнул, но отпустил меня — нехотя, на шаг. Я рванулась к отцу, и он обнял меня, крепко, жарко, как в последний раз, и прошептал мне в волосы:

— Слушай меня, рыбка. Они отдадут тебя тем, кто на кораблях. Не сопротивляйся. Я знаю, ты гордая, тебя учили не сдаваться. Но не сопротивляйся. Плыви по течению. Живи. Поняла? Живи, чего бы это ни стоило. Однажды ты разберёшься, что это за дверь, и сама решишь, открывать её или нет. А до той поры — плыви. Я люблю тебя, Ширин. Я всегда любил тебя. И мать твоя любит. Мы оба будем ждать тебя, где бы ты ни была.

— Отец, не надо! — Я схватила его за рубаху, но он мягко разжал мои пальцы, поцеловал меня в лоб и отступил к краю обрыва.

— Ильяс! — крикнула я. — Отец, стой!

Он не остановился. Он шагнул к самому краю, и я видела, как снизу, из тумана, поднимаются к нему мокрые руки — много рук, тёплых, живых, тянущихся, как к старому другу.

— Не надо! — кричала я, рвясь из рук гнусавого. — Не надо, не отдавай им себя, они же мёртвые, отец, они мёртвые!

— А я, дочка, — сказал он, оборачиваясь, и улыбнулся мне той улыбкой, какою улыбаются дети перед самым сладким сном, — а я, дочка, всю жизнь ждал, когда за мной придёт вода. Прости, что не сказал тебе раньше. Я не хотел тебя пугать. Я думал, что успею вырастить тебя, и тогда она придёт за мной одна, и ты не увидишь. А вышло вот как.

Он шагнул с обрыва.

Я закричала. Я кричала так, что горло сорвало, и разбойник держал меня, а я вырывалась, и видела, как отец падает в туман, в воду, в поднятые к нему руки — и не слышала всплеска. Вообще. Они приняли его беззвучно, как принимают своё.

А потом туман над речкой стал подниматься — густой, белый, тёплый, — и из него, как из воды, вышли трое. Не те разбойники. Другие. В кафтанах, мокрых до нитки, с лицами, белёсыми, как у людей, которых долго держали под водой. Они подошли к гнусавому, и тот вдруг побледнел, попятился, забормотал что-то.

— Мы сделали, как ты велел, — сказал один из них, и голос у него шёл, как из колодца. — Мы привели её. Мы привели девку к воде. Теперь она наша.

И тогда всё потемнело.

Я не помню, как меня уводили с перевала. Помню только сильные руки, запах мокрой земли, качание, как на волнах, и голос гнусавого, который стал вдруг тонким, жалобным, почти плачущим:

— Мы её вам отдали, как договаривались! Мы же как договаривались, отдали! Зачем вы нас? Мы же люди, мы по уговору…

Дальше — вода. Много воды. Она была везде — в ушах, во рту, за воротом, в волосах, — и она несла меня, и я не тонула, я плыла, как щепка, как щепка на стрежне, и вокруг меня шли мокрые люди, и я слышала, как они говорят, — а точнее, как говорит за них вода:

— Не бойся. Мы не тронем. Ты — наша. Ты — ключ. Ты — дверь. Мы ждали тебя так долго.

— Куда вы меня везёте? — спросила я, и голос мой был тихий, чужой.

— Туда, где вода встречается с небом, — ответили они. — К тому, кто ходит по воде. К тому, кто идёт за дверью. К атаману.

Я открыла глаза.

Я лежала на спине, на мокром дне лодки, и надо мной было небо — тяжёлое, серое, с рваными краями, и по нему плыл чёрный парус.

Тот самый.

Парус из моего сна.

Вокруг была вода — тёмная, жирная, пахнущая тиной и солью, и лодка мерно покачивалась, и я была цела, жива, и только соль во рту, как будто я целую ночь глотала песок.

Того человека, что звался гнусавым, в лодке не было. Не было и разбойников. В лодке были только я, и мокрые вёсла, и на корме — мальчишка лет четырнадцати, белобрысый, конопатый, на вид совсем чужой, — и он греб, не оглядываясь, к большому чёрному стругу, что стоял впереди, в тумане, как гора.

— Эй, — сказала я, и голос мой сел. — Эй, мальчик. Ты кто?

Мальчишка не обернулся. Он грёб — ровно, сильно, не по-детски, — и когда до струга осталось вёсел десять, он сказал, не поворачивая головы, голосом, какой бывает у людей, привыкших молчать:

— Меня звать Васятка. Я гребу к атаману. Ты — та самая, что не тонет. Атаман велел тебя привезти, как придёшь.

— Откуда он знал, что я приду?

Васятка помолчал, потом обернулся — и я увидела его глаза: серые, спокойные, взрослые не по годам, с той ровной темнотой, какую я видела у людей, которые живут у воды всю жизнь.

— Атаман всё знает, — сказал он просто. — Атаман на дно смотрел. Там тебя и увидел. В воде. Ты там уже была, барышня. Только ещё не утонула.

Он отвернулся и стал грести дальше, к чёрному стругу, к туману, к парусу из моего сна, и я лежала на дне лодки, глядя в серое небо, и думала: вода и впрямь всё помнит. Вода послала за мной отца, воду послала за мной мать, вода послала разбойников, вода посадила меня в эту лодку и велела мальчишке грести к атаману.

А я лежала и не тонула. Как и было обещано.

И впервые за эти три ночи, за все три горьких, страшных дня я заплакала — не от страха, а от того, что всё, что говорила бабка Шираз, сбывалось, слово в слово, и значит, сбудется и остальное. Бросят. Не утону. Открою. Дверь.

Мальчишка грёб. Туман расступался. Приближался чёрный струг, и на носу его, положив руку на саблю, стоял человек — высокий, тёмный, смуглый, с чёрной бородой, с глазами, которые смотрели на воду так, как смотрят на ровный, знакомый путь. Он стоял недвижно, и вода под стругом была тихая, как парное молоко, и мне почудилось вдруг, будто он стоит не на палубе, а на самой воде — и вода его держит.

Он смотрел на меня. Я, лёжа, смотрела на него.

И я узнала его глаза: это были те самые глаза, что я видела на дне, в зелёной, слоистой тьме моего сна, — когда рука держала меня за щиколотку и голос говорил: «Не тони, сладкая. Тебя нельзя».

Лодка ткнулась носом в борт струга. Васятка бросил вёсла, встал на колени. А человек на носу шагнул к борту, наклонился, протянул мне руку — сухую, сильную, тёмную от солнца, — и сказал, и голос у него был такой же, как в моём сне, — низкий, тёплый, чуть хриплый:

— Слазь, девка. Не бойся. Я не тону, и ты не утонешь. Пойдёшь со мной до конца воды. Пойдёшь?

И я, сама не зная почему, взяла его за руку.

Потом, гораздо позже, я узнала, как называется этот человек.

Его звали ***Степан Тимофеевич Разин***.

***

Он не отпустил мою руку, когда я встала на палубу. Он держал её — легко, но так, что я поняла: это не приветствие, это осмотр. Он изучал мою ладонь, как читают письмо.

— Рука лёгкая, — сказал он и улыбнулся, и от улыбки этой, тёплой и страшной одновременно, у меня мурашки пошли по спине. — Лёгкая рука — хорошая примета. А глаза у тебя, девка, тяжёлые. Такими глазами смотрят на дно. — Он отпустил мою руку и кивнул куда-то в сторону кормы. — Пойдём. Я тебя накормлю. У нас не в обычае держать голодных.

Я пошла за ним, как за водой — без выбора. Струг был огромный, тёмный, скрипучий, пахло от него смолой, мокрым деревом, рыбой и потом — и в то же время вокруг было чисто, подметено, и на банках сидели люди — гребцы, казаки, я не умела их различать, — и все они, как один, смотрели на меня, и в глазах у них был не тот голодный, тяжёлый взгляд, которого я ждала, а другой — любопытный, почтительный, как будто они смотрели на вещь, про которую много слышали и наконец увидели.

— Есть на корабле девка, что не тонет, — сказал кто-то негромко, и по рядам прошёл шепоток. — Не тонет, слышь.

— Цыц, — бросил Разин, не оборачиваясь, и стало тихо.

Он привёл меня в носовую рубку, где на столе, сколоченном из досок, стояла миска с ухой, тёплый хлеб, лук. Я не ела со вчерашнего полдня — и всё же смотрела на еду смутно, как сквозь воду, потому что внутри меня было не голодно, а пусто.

— Ешь, — сказал Разин, садясь напротив. — Ешь, я подожду. Вопросы потом.

Я села на край лавки, взяла ложку, заставила себя проглотить первую ложку ухи — и вдруг поняла, как я голодна. Горячее, жирное, солёное — я ела, обжигаясь, не глядя, а он сидел напротив, подперев подбородок рукой, и смотрел на меня, как смотрят на огонь, — спокойно, долго, не мигая.

— Ну, — сказал он, когда я отодвинула пустую миску. — Теперь давай говорить. Ты — Ширин, дочь Ильяса, начальника порта в Астрабаде.

Я похолодела. Откуда он знает моё имя? Откуда он знает отца?

— Не пугайся, — сказал он, будто прочитав мои мысли. — Про тебя вся вода говорит. Давно говорит. Я тебя ещё на том берегу заприметил, когда мы город брали. Ты по причалу шла, а за тобой, по воде, следы шли — не от тебя, а к тебе. Заложные за тобой идут, девка. Они за тобой давно идут. Ты знаешь, что они за тобой идут?

Я молчала. Он кивнул, будто я ответила.

— Знаешь. Значит, и про дверь знаешь. И про дно. И про то, что ты — ключ. — Он налил себе чарку, выпил, не поморщившись, и поставил на стол. — Худо тебе, девка. Я знаю. У меня у самого такая жизнь, что всякий день — как по дну. Но я тебе вот что скажу: если ты — дверь, то и тебе, и мне по пути. Мне нужен ключ. Тебе нужна защита. А я умею защищать, — он усмехнулся, и усмешка у него была невесёлая, — и умею брать. Ну что, идём со мной до конца воды? Я тебя не продам, не брошу, не утоплю. Это я обещаю. А что обещаю — то держу, слово моё крепкое, водой скреплённое.

Он протянул мне руку через стол — уже не для пожатия, а для договора.

И я, вместо того чтобы отшатнуться, смотрела на эту руку и думала странную, чужую для себя мысль: а ведь если я и впрямь дверь — то лучше, чтобы за мою спину встал тот, кто умеет брать, а не тот, кто умеет только просить. Отец берёг меня от воды. А этот человек — он сам был водой, и он предлагал не прятаться, а идти.

— Идём, — сказала я, и голос мой был тихий, но ровный.

Разин хлопнул ладонью по столу, засмеялся, и смех у него был широкий, весёлый, как разлив:

— Славно! — сказал он. — Славно, девка. Теперь ты моя. Не как пленница — как товарищ. У нас на Дону так: кто с нами в струге — тот брат, и сестра тоже брат. Запомни.

Он встал, вышел на палубу, а я осталась сидеть, сжимая пустую миску, и слушала, как за стеной — какие-то команды, хлопанье паруса, скрип уключин. Струг тронулся. Я вышла на палубу и увидела, как мы отходим от тумана, от гор, от того берега, где остались дым и мой отец, — в открытую воду, на простор, туда, где небо сходилось с морем в одну серую, широкую линию.

На корме, поставив ногу на борт, стоял Разин и смотрел вперёд, на разводящуюся перед стругом воду. Рядом с ним, у ног, сидел мальчишка Васятка. А за кормой шла вода — тёмная, жирная, родная, — и в ней, как в толпе, шли следом за стругом мокрые люди. Я их видела. Я всегда их видела. И они шли за мной.

— Не бойся, — сказала я себе, ветру, воде, всем ним сразу, и сама не поняла, к кому я обращаюсь. — Не бойся. Ты не утонешь. Ты не утонешь, сладкая.

И где-то в глубине, на самом дне, где я была уже, хоть и не утонула, — дверь, огромная, чёрная, на миг приоткрылась, и оттуда пахнуло тёплой, слоистой тьмой, и мне показалось, что я слышу, как все они, все заложные, все, кого я видела за свою жизнь, разом выдохнули:

— Идёт.

Потом, гораздо позже, я узнала, как называется это ощущение — когда дверь, которую ты всю жизнь пытался не открывать, сама делает первый шаг навстречу.

Его называют *судьбой*.

И только ветер стал подниматься — ровный, тяжёлый, с моря, — и скоро он подул в нашу сторону, и с ним пришёл запах дыма.

Потом, гораздо позже, я узнала, как называется ветер, который поднялся в то утро над Астрабадом.

Его называют ***Народная песня***.

Глава 1. Жемчужина на ладони

«Город стоял у моря, как похищенный у неба камень»— легенда Астрабада

Первую ночь на струге я не спала.

Мне не дали каюты — дали место у кормы, на тёплых досках, под лёгким навесом из парусины, и кто-то из казаков, не глядя, сунул мне в руки старую, пахнущую потом бурку: «На, девка, укройся, ночи на воде злые». Бурка была тяжёлая, колючая, и от неё пахло чужим человеком — табаком, потом, железом и той особой, горьковатой сыростью, что въедается в одежду тех, кто годами спит над водой. Я лежала, накрывшись с головой, как в детстве, и слушала, как дышит корабль.

Струг — это не дом и не корабль в том виде, как я понимала корабли. Это плавучая станица, крепость из мокрого дерева, и у неё есть свой голос: скрип уключин, вздох паруса, топот босых ног по палубе, бормотание молитв, обрывки песен, ругань. Всю ночь под палубой кто-то вполголоса считал добычу, кто-то спорил о дележе, кто-то плакал — тонко, по-детски, и я не могла понять, плачет это женщина или мальчик, и не решалась узнать.

А над водой, за бортом, шли они.

Я чувствовала их — даже не видя, кожей, той самой особой сыростью, которая для меня всегда означала одно: рядом заложные. Они шли за стругом, как чайки за кормой, — молчаливые, мокрые, терпеливые, и я знала, что, если бы я подняла край бурки и посмотрела, я бы увидела их лица — обращённые ко мне, ждущие.

Я не поднимала край бурки. Я лежала, прижав колени к груди, как в детстве, и училась дышать ровно.

— Ты не спишь, — сказал голос из темноты. Я вздрогнула. Мальчишка Васятка сидел в двух шагах от меня, привалившись спиной к борту, и строгал ножиком какую-то палочку — щепки летели в темноту, невидимые, но слышные. Он не смотрел на меня. Он вообще, казалось, смотрел куда-то внутрь себя. — Я тоже не сплю. Я на воде не сплю, пока ходят.

— Кто ходит? — спросила я шёпотом.

— За нами, — сказал он так просто, будто речь шла о погоде. — Они всегда за нами ходят. Атаман говорит, не наше дело, пусть идут. А я всё равно не сплю. Вдруг который решится.

Я приподнялась на локте. В темноте лицо Васятки было бледным пятном, и глаза его — серые, я уже знала этот цвет, — смотрели на воду за бортом, не мигая.

— Ты их видишь? — спросила я, и сердце у меня забилось быстрее.

Васятка помолчал, потом сказал, всё так же не оборачиваясь:

— Не вижу. Слышу. Иногда, когда тихо, слышно, как они по воде идут. Шлёп, шлёп. Будто босиком по мокрому песку.

Меня пробрал холод. Я знала этот звук. Я слышала его в детстве, когда бегала на причал и возвращалась поздно, — шлёп, шлёп, за спиной, и нельзя оборачиваться, нельзя, иначе увидишь того, кто идёт за тобой босиком по мокрому песку, хотя на берегу нет ни воды, ни песка.

— Васятка, — сказала я тихо. — Ты давно с атаманом?

— Давно, — сказал он. — Я его с того берега. Я с Дону. Меня атаман при людях нашёл, когда меня хотели в слободу отдать, в работники. Я от него никуда. — Он помолчал и добавил, и в голосе его прозвучало что-то очень взрослое, очень тяжёлое: — Атаман добрый. Атаман никого не бросает.

«Никого не бросает». Я лежала и смотрела в тёмный потолок парусины и думала об отце, которого вода забрала, потому что я не смогла его удержать. «Атаман никого не бросает». А кто бросил меня? Вода. Вода бросает всех, рано или поздно, — думала я, — вода не обещает, она просто берёт, и всё, что она отдаёт назад, она отдаёт переломанным, как щепки. Вода бросила

меня отцу, бросила отца воде, бросила меня в эту лодку, к этому мальчишке, к этому атаману. И я не знала, то ли она несёт меня, то ли просто ещё не выбрала момент уронить.

Под утро я всё-таки задремала — трудным, рваным сном, без снов, — и проснулась от того, что струг накренился, заскрипел всеми швами, и по палубе затопали ноги, и голос Разина — я узнала бы его из тысячи, низкий, тёплый, с той особой хрипотцой, — прокатился над водой:

— Подъём, орлы! Берег! Астраханский берег, Господи прости, пока ещё не нашенский!

Я села, спросонья толком не понимая, где я, и первое, что увидела, — разворачивающийся над головой парус, тёмный, пахнущий смолой, и за ним — полосу берега, низкую, песчаную, с тёмными пятнами камыша.

Мы шли к берегу. Мы шли к Астрахани.

***

Астрахань я раньше видела только по рассказам отца: город-пристань, город-устье, где Волга, великая река, впадает в море и где сходятся все дороги мира — персидские, бухарские, русские, татарские. Отец бывал там и привозил оттуда особый, хвастливый блеск в глазах, будто побывал в столице мира. «Астрахань, дочка, — говорил он, — это камень на ладони у воды. Море тянется взять, а она не даётся. Вот и вся её слава».

Теперь я смотрела на этот «камень на ладони» с борта разбойничьего струга, и он был передо мной — белый, глиняный, с башнями, с колокольнями, с кривыми улочками, сбегающими к пристани, — и он был прекрасен и беззащитен одновременно, как жемчужина на чужой ладони.

Именно эта мысль и пришла мне в голову — жемчужина на ладони. Я не знала тогда, что Разин думает то же самое.

Меня нашли на корме — я стояла, держась за борт, и смотрела на город, и бурка моя сползла с плеч, и была я босая, в чужом мужском халате, с растрёпанными волосами — зрелище, наверное, жалкое. Разин подошёл неслышно, как подходит вода, и встал рядом, и мы оба молча смотрели на Астрахань.

— Красивая, — сказал он наконец. — Жемчужина. Так про неё в Персии говорят, слышал. Жемчужина на ладони у моря.

— Жемчужину — на ладони держат, — сказала я негромко. — А ладонь-то закроется — и нет жемчужины.

Разин усмехнулся, покосился на меня, и глаза его — тёмные, тёплые, с искрой, как угли под золой, — на миг стали серьёзными:

— То-то и оно, девка. То-то и оно. Вся наша жизнь — жемчужина на чужой ладони. Вопрос: чья ладонь закроется первой? Мы — так думаем: пусть лучше наша закроется на их горле, чем их — на нашем.

Он сказал это просто, весело, как говорят о погоде, и у меня по спине снова пробежал холод. Я начинала понимать, что за человек этот Разин: для него убийство, грабёж, смерть — не злодейство и не трагедия, а обычная работа воды, которая точит камень. Он не злой. Он — как сама вода: не злой и не добрый, он просто берёт своё.

— Тебя как звать, толмач? — крикнул кто-то с палубы. — Веди её к атаману, велено!

— Не толмач я ей, — ответил голос, молодой, звонкий, с лёгкой смешинкой. — Я ей друг, как погляжу.

Я обернулась.

На палубе, у мачты, стоял парень — лет двадцати, светловолосый, но загорелый до черноты, в рубахе, перехваченной ремнём, с ножом за поясом. Он улыбался — открыто, незлобиво, и от улыбки его, от того, как он стоял, чуть расставив ноги, как держал голову, — от всего этого веяло чем-то, от чего у меня отлегло от сердца, хотя я не могла бы сказать почему.

Он не был похож на разбойника. Он был похож на человека, которому в жизни везёт, и он это знает, и поэтому ему всё нипочём.

— Иван, — сказал он, шагнув ко мне, и протянул руку — не для пожатия, а как-то иначе, шире, будто приглашая. — Иван Вешняк. Атаманов толмач — по-ихнему, по-нашему, по-вашему. Велено тебя устроить, показать, накормить, порасспросить, чего ты боишься, чего хочешь. Ну чего ты боишься?

Я посмотрела на его протянутую руку, потом ему в глаза — светло-серые, с тёплой искрой, — и сказала:

— Воды.

Иван Вешняк засмеялся — легко, счастливо, так, что вокруг него даже воздух, казалось, посветлел:

— Воды! Слыхали? Девка боится воды, а на корабле живёт! — Он покачал головой. — Ну, это ты зря, девушка. Воды бояться — всё равно что земли бояться. У нас тут, на струге, все от воды. Кто в ней родился, кто в ней умер, кто в ней воскрес. Ты погоди. Ты с нами поживёшь — полюбишь её, как мы.

— Я не говорю, что не люблю, — сказала я тихо. — Я говорю, что боюсь.

Улыбка у Ивана дрогнула — на миг, едва заметно, — и он посмотрел на меня уже не как на забавную пленницу, а как-то иначе, внимательнее, и в глазах его мелькнуло что-то, чему я не нашла названия.

— Ну, — сказал он, и голос его стал мягче, — тогда я тебя покажу, где у нас сухо. Пойдём, красавица. Пойдём глянем, как атаманова жемчужина приживается на чужой ладони.

И он повёл меня по палубе, мимо казаков, мимо связок лука и бочонков с порохом, мимо глиняных кувшинов с маслом и мёрзлой рыбы, и я шла за ним, чувствуя, как на меня смотрят десятки глаз, и слыша, как за спиной шепчутся:

— Та самая, что не тонет…

— Атаманова девка…

— Не девка, братцы, ключ. Ключ, слышь. Дверь.

— Тише вы, дураки, она ж слышит.

И я слышала. Я всё слышала. И шла за Иваном, стараясь дышать ровно, и думала: вот она, судьба, о которой я слышала столько раз и которой так боялась, — вот она, тёплая, пахнущая смолой и рыбой, в светловолосом парне с улыбкой человека, которому всё нипочём, и в тёмном атамане, который смотрит на воду как на ровный знакомый путь, и в шёпоте за спиной, который называет меня диковинными словами: «та, что не тонет», «ключ», «дверь».

Астрахань приближалась. Струг резал воду ровно, без усилия, как нож режет тёплое масло, и я стояла у борта, вцепившись в дерево, и смотрела, как растёт на горизонте белый город-жемчужина, и думала, что вот-вот чья-то ладонь сомкнётся.

Только чья? Их — на нём? Его — на них? Или моя — на всём сразу?

Я не знала ответа. Но вода, как всегда, знала.

-***

Пристань Астрахани помню как один длинный крик.

Струги не вошли в городской порт, как честные купцы. Они стали на рейде, у песчаной косы, и от них отвалили лодки — и в них, на вёслах, сидели не гребцы, а стрельцы в астраханском платье, с копьями, и на носу первой лодки стоял воеводский человек, толстый, красный, в парчовом кафтане, и он кричал через воду — надрывался, багровея:

— …которым указом велено! Доложите атаману! Царского величества боярин и воевода князь Прозоровский требует! Доложите, что воевода прислал спросить: с чем пришли, чего хотите?

Разин стоял на носу струга, недвижно, и слушал — и когда воеводский человек захлебнулся собственным криком, он ответил, и голос его был негромкий, но слышно было каждое слово, потому что вокруг стояла тишина:

— С поклоном, человече. С поклоном и с дарами. Скажи воеводе: Степан Тимофеевич, атаман донской, идёт к его честной милости с повинной головой. Пушки сдадим, полон — весь сдадим, что в походах взяли. Только пусть боярин нас не обидит. Пусть примет нас, казаков донских, как гостей, а не как воров. И девку эту, — он кивнул на меня, — пусть боярин возьмёт под свою руку, как сироту, потому как она сирота, и дар у неё особый.

Я похолодела. Я стояла на палубе, сжимая борт, слышала, как меня отдают — легко, как вещь, как пушку, как добычу, — и мне нечего было сказать, потому что Разин говорил обо мне так, как говорят о жемчужине: «вот, возьми, полюбуйся, я её тебе дарю».

Но он не дарил меня, я поняла. Он меня показывал.

— Девку? — переспросил воеводский человек, и в голосе его послышалось что-то — удивление, алчность, недоверие. — Это какую девку?

— А такую, — сказал Разин и усмехнулся. — Что в море бросишь — не потонет.

Я стояла на палубе и чувствовала, как от этих слов по толпе на пристани, по всем лодкам, по всему берегу пробегает волна — шёпот, движение, качание голов, блеск глаз. «Не потонет». Обо мне говорили так, как говорят о диковинном звере, о чуде, о фокусе ярмарочном. И я вдруг остро, до слёз, до дрожи в руках поняла, что я для них — не человек, не сирота, не девушка. Я — вещь. Я — жемчужина. Я — дверь. И то, что я живая, чувствующая, боящаяся, — это никого не касается.

Кроме одного человека.

— Атаман, — сказал Иван Вешняк негромко, шагнув вперёд, и голос его был ровный, но в нём была сталь, которой я не слышала раньше. — Атаман, девка не вещь. Она — человек. Нешто она тика где? Нешто ты её татарам продаёшь?

Разин повернул к нему голову — медленно, как поворачивается вода, когда в неё бросают камень, — и посмотрел на Ивана долгим, тяжёлым взглядом:

— Молчи, толмач. Не твоё дело.

— Моё, — сказал Иван, и я видела, как побелели у него костяшки пальцев на рукояти ножа. — Я её к атаману привёз. Я за неё головой отвечаю. Нешто я её для того вёз, чтобы ты её воеводе, как курицу, на убой?

— Она не курица, — спокойно сказал Разин. — Она жемчужина. А жемчуг, Иван, в воеводском доме целее будет, чем на разбойном струге. Ты, поди, и сам это понимаешь. Ты ж не дурак.

Иван стиснул зубы. Я видела, как у него ходят желваки, как он борется с собой — и я стояла, и смотрела на него, и впервые за эти долгие, страшные дни чувствовала, что есть на этом струге человек, для которого я — не вещь. Не дверь. Не ключ. Человек.

— Иван, — сказала я тихо, и он посмотрел на меня — и в глазах его, серых, тёплых, была та самая светлая искра, которая, казалось, никогда не гаснет. — Всё хорошо. Пусть. Пусть меня воеводе провожают. Может, так и лучше.

Он хотел что-то сказать, но запнулся, и я видела, как он заставляет себя кивнуть, разжать пальцы на ноже, отступить. И когда воеводская лодка причалила к стругу и толстый человек в парчовом кафтане, отдуваясь, поднялся на палубу и уставился на меня — жадно, оценивающе, как смотрят на дорогую вещь, — я шагнула вперёд сама, до того как он успел ко мне обратиться, и сказала:

— Я Ширин, дочь Ильяса, начальника порта в Астрабаде. — Ложь вышла сама, легко и естественно, как дышит вода. — Атаман прав: я сирота. Моя мать утонула, когда я была маленькой. Если воевода возьмёт меня под свою руку, я буду служить ему верой и правдой. Только пусть он знает, — я подняла глаза и посмотрела на толстого человека прямо, не отводя

взгляда, — что я умею то, чего не умеют другие девки. Я вижу тех, кто утонул. Вижу их, когда они стоят у воды. И они — они меня тоже видят.

Толстый человек побледнел. На пристани стало тихо — так тихо, что слышно было, как чайка кричит над водой, далеко-далеко.

— Ты, это, — сказал он наконец, и голос у него дрожал. — Ты, девка, не пугай. Ты при воеводе будешь. При его милости. Он тебя, это, в тереме устроит, при себе, как служанку… Ты, это, не бойся. Боярин добрый.

— Я не боюсь, — сказала я.

И это была первая за весь день правда, которую я сказала вслух.

***

Воеводу звали князь Иван Семёнович Прозоровский.

Я узнала это в первый же час в Астрахани — от служанок, от стрельцов, от собственного языка, который устал повторять одно и то же: «Я сирота, я сбежала из персидского города, когда его взяли воры, я простая девка». Воевода Прозоровский был для Астрахани всем: хозяином, судьёй, отцом и бичом. О нём говорили шёпотом и с оглядкой, и слава у него была двойная: с одной стороны, честный да строгий, с другой — скупой и до женского полу охотливый, что при воеводской должности не редкость, но и не похвала.

В терем меня привели через чёрный ход — чтобы не мозолить глаза честным людям, как объяснила ключница, женщина сухая, носатая, с ключами на поясе, которая глядела на меня, как на нашкодившую кошку. Мне дали комнатку при женской половине — тесную, с окошком на реку, с узкой лавкой, на которую была брошена овчина, и велели мыться, переодеваться в чистое и вечером предстать пред светлые очи его милости.

Я мылась. Я переодевалась. И всё это время я думала, что вода, которая несёт меня, — она же теперь и в тереме, в колодце, в лохани, в реке под окном, — и что вода знает, где я, и что вода, если ей надо, придёт за мной и сюда.

Вечером меня позвали.

Князь Прозоровский оказался не тем, что я ожидала. Я думала — увижу толстого, старого, с жирными руками и мутными глазами, вроде того посланца. А увидела человека лет пятидесяти, сухого, седобородого, с острыми, внимательными глазами, одетого скромно, по-походному, в тёмный кафтан без украшений. Он сидел за столом в горнице, при свечах, перед ним лежали бумаги, и он разбирал их не спеша, как человек, который привык, что его время — его, и оно не кончится.

— Ну, покажись, — сказал он, не поднимая глаз от бумаги. — Персидская княжна, слыхал я.

Я остановилась в дверях, сцепив руки. «Персидская княжна» — это было новое слово, новое имя, которым меня наградили по пути из струга в терем, и я его ещё не носила, но уже чувствовала его вес.

— Я не княжна, господин воевода, — сказала я. — Я дочь начальника порта. Город мой разорили, отца убили...

— Знаю, — перебил Прозоровский, и голос его был ровный, как вода в глубоком месте. — Знаю. Мне уже доложили. Ты, говорят, умеешь видеть утопленников. Любопытно. А ну-ка подойди.

Я подошла. В горнице пахло воском, чернилами и сухими травами, и я шла к столу, чувствуя каждой клеточкой тела, что за моей спиной, в тёмном углу горницы, стоит кто-то ещё. Я не оборачивалась. Я знала, кто это.

— Спиной чуешь кого-то? — спросил Прозоровский, внимательно глядя на меня. — Вон там, в углу, воеводский дьяк сидит, Онуфрий, письма наши пишет. Ты его видишь?

Я замерла.

Дьяк. Воеводский дьяк. Онуфрий.

Я медленно, очень медленно обернулась.

В тёмном углу, за конторкой, при тусклой свече, сидел человек — худой, в длинном тёмном платье, с лицом, которого я не могла разглядеть, потому что он держал голову низко, склонясь над бумагой. Он писал. Перо его двигалось быстро, ровно, без остановки, и от него пахло — я уловила этот запах сразу, прежде чем поняла, что вижу, — мокрыми волосами.

— Я вижу вас, господин дьяк, — сказала я, и голос мой был тихий, но ровный. — Вы стоите у воды, и вода с вас течёт.

Человек за конторкой поднял голову.

И я увидела его лицо — белое, как бумага, на которой он писал, с тёмными провалами глаз, с губами, тонкими, как лезвие, — и глаза его, когда они встретились с моими, были цвета чернил: чёрные, глубокие, без дна.

— Девка зрит, — сказал он, и голос у него был тихий, скрипучий, как скрипят половицы в старом доме. — Девка зрит. То-то и оно.

— Слышал? — сказал Прозоровский, и в голосе его — я не поверила своим ушам — прозвучало удовлетворение, почти торжество. — Слышал, Онуфрий, что я тебе говорил? Она видит. Она, стало быть, та самая. Не ошибся я.

Я переводила взгляд с одного на другого, и у меня внутри всё холодело, потому что я вдруг начала понимать, что попала не в милость воеводскую, а в какую-то более глубокую, более тёмную игру, правила которой мне ещё не объяснили.

— Та самая, — повторил дьяк Онуфрий, и в голосе его была странная, почти нежная усмешка. — Та самая. Что ж, господин воевода, выходит, я вас не обманул. Есть она — дверь. Есть ключ. И он у нас на ладони.

— Держи, — сказал Прозоровский. — Держи её, Онуфрий, при себе. Пусть при тебе будет, при делах, смотреть, что она видит. Сгодится. Девка, — он обратился уже ко мне, и голос его был ровный, — будешь при дьяке, при Онуфрие, в послушании. Что он велит — то делаешь. Что он спросит — то говоришь. За службу — терем, еда, одежда. А ежели что не так — узнаешь, что у нас, в Астрахани, с воровскими девками делают.

Он взял перо и вернулся к бумагам. А я стояла посреди горницы, и передо мной, за конторкой, сидел мокрый человек, и его чёрные глаза без дна смотрели на меня, и я чувствовала, как вода под моими ногами — та самая, родная, которая меня вела, — вдруг ушла куда-то вбок, в сторону, и оставила меня одну.

— Ну что ж, красавица, — сказал Онуфрий, и голос его был тихий, как шелест бумаги. — Будем знакомы. Я — Онуфрий Верига, дьяк воеводской избы. А ты — моя новая послушница.

Он улыбнулся — и от улыбки его, белой, как бумага, мне стало страшно так, как не было страшно даже в ту ночь, когда я впервые увидела рыбака, идущего с причала к воде.

Я стояла в воеводском тереме, в горнице, пахнущей воском и чернилами, и смотрела на него, и вдруг поняла: вода привела меня в Астрахань не затем, чтобы отдать Прозоровскому. Вода привела меня к этому человеку.

И я не знала, то ли это мой враг, то ли мой страж, то ли моя погибель.

Я только знала: он мокрый. И что-то в нём — как и во мне — не тонет.

***

Дни в Астрахани тянулись, как вода в половодье, — много, широко, будто времени было больше, чем нужно, и всякая человеческая суета в нём тонула и не всплывала.

Меня поселили при женской половине воеводского терема: тесная комнатка, окно на реку, лавка, покрытая овчиной, кувшин с водой на подоконнике. Ключница, сухая и носатая, по имени Пелагея, глядела на меня волком, но кормила вволю и одевала в чистое, потому что так велел «его милость» и «дьяк Онуфрий». А я жила, как во сне: вставала с рассветом, помогала по дому, училась молчать, когда меня не спрашивают, и смотрела на реку из своего окошка.

Волга.

Я впервые видела её так близко. В Астрабаде я слышала о ней от отца — о великой реке, что течёт от холодных северных земель через всю Русь к морю, и о том, что она, говорят, живая, как зверь, и что люди на ней живут, как на звере верхом: никогда не знаешь, когда она скинет. Я думала тогда, что отец украшает, что это сказки для девочки. Теперь я смотрела на Волгу из окошка воеводского терема — и понимала, что он не украшал. Он не умел украшать. Он говорил правду, а правда о великой воде всегда звучит как сказка.

Волга у Астрахани была широкая — так широка, что противоположный берег тонул в дымке, — тёмная, жирная, медленная, и она не текла, как обычные реки. Она величаво, лениво переваливала своё огромное тело, и в ней было столько силы, что казалось, она не движется, а просто стоит — могучая, терпеливая, как зверь, который ждёт. Я смотрела на неё часами, и мне было и страшно, и любопытно: это вода, которая вела меня сюда. Это по ней — не по морю, а по этой реке — пришли чёрные паруса, которые я видела в ту ночь, когда море замерло. Это она, Волга, помнит мою мать. Это она ждала меня, как ждут должника.

Однажды вечером, когда я стояла у окна, глядя на реку, за моей спиной раздался тихий голос:

— Любуешься?

Я обернулась. В дверях моей комнатки стоял Иван Вешняк — не в той лёгкой, рубахе-навыпуск одежде, как на струге, а в тёмном кафтане, чистом, как у воеводского слуги, и на поясе у него висела сабля — не парадная, а боевая, с потёртой рукоятью. Он смотрел на меня, чуть склонив голову, и в глазах его была та самая светлая искра, которая, казалось, не гаснет никогда.

— Как ты сюда попал? — спросила я, и это было глупо, но другого вопроса у меня не нашлось.

— По службе, — сказал он и усмехнулся. — Я теперь при воеводской избе состою: толмач для иноземных гостей, а также для девок персидских, коим велено глядеть в окно на реку, якобы высматривать, не идут ли корабли с Дону. Ну что, красавица, идут?

Я посмотрела на него. Он не шутил — он шутил, но за шуткой его была другая, серьёзная искорка, и я вдруг поняла: он пришёл не за тем, чтобы шутить. Он пришёл проведать меня.

— Иван, — сказала я тихо. — Зачем ты здесь? Тебя атаман послал?

Он помолчал, потом шагнул в комнатку, притворил дверь — не плотно, так, чтобы слышно было, если кто идёт, — и сел на край лавки, и лицо его стало серьёзным:

— Атаман меня не посылал. Атаман в Кагальник ушёл, на Дон, ещё на прошлой неделе. Отсюда, после того как пушки сдали, да полон, да девку эту… — он запнулся, и я увидела, как желваки у него заходили на скулах, — да девку эту его милости воеводе, как дар, отдали. Атаман ушёл. А я остался. По своему хотению. У меня тут, при воеводской избе, дело есть.

— Какое дело? — спросила я.

Он посмотрел на меня — долго, внимательно, как смотрят на дорогую вещь, которую боишься уронить, — и сказал:

— Ты.

У меня перехватило дыхание. Я стояла у окна, за спиной у меня была Волга, жирная и могучая, и в комнатке пахло овчиной и воском, и передо мной стоял чужой казачий толмач, и он говорил, что остался в Астрахани не ради службы, а ради меня.

— Иван, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Ты не должен. Я — вещь. Меня воеводе отдали, как пушку. Ты сам это видел. Зачем тебе отягощать себя тем, что нельзя ни увести, ни спасти, ни спрятать?

— А кто тебя просит быть вещью? — сказал он, и в голосе его прозвучала сталь, которую я слышала на струге, когда он спорил с атаманом. — Ты не вещь. Ты — человек. Ты — Ширин, дочь Ильяса. Ты — девка, которая умеет видеть то, чего другие не видят. И ты — в этом городе

одна, без родных, без защиты, в руках у человека, от которого — я знаю его, я его видел — лучше держаться подальше. Верига этот, дьяк. Он не человек. Он не то, чем кажется.

— Откуда ты знаешь?

— Я видел, — сказал Иван, и в глазах его мелькнула тень. — Я видел его при тёмной воде, когда он думал, что его никто не видит. Он стоял у колодца на воеводском дворе, и вода из колодца поднималась к нему — сама, без верёвки, и он говорил с ней, как со слугой. Не знаю, кто он и что он. Но человек так с водой не разговаривает.

Я смотрела на него, и у меня холодными мурашками бежало по спине, потому что я знала, о чём он говорит, — я чувствовала ту же сырость, что и он, когда рядом был Верига, — но я думала, что я одна это чувствую. А он, чужой казачий парень, без дара, без крови, он тоже это видел. Значит, чудеса на этой воде не очень-то и прячутся.

— Иван, — сказала я, и голос мой был тихий. — Ты боишься за меня?

— Боюсь, — сказал он просто. — И не стыжусь в этом признаться. Ты мне не вещь. Ты мне… — Он запнулся, подыскивая слово, и не нашёл, и это было красноречивее любых слов. — Ты мне — вот, — сказал он и положил руку на грудь, туда, где сердце. — Тут. Понял? Я тут тебя ношу.

И я, стоя у окна, за которым текла великая река, поняла, что это значит. Я поняла, что за эти несколько дней — с того мига, когда он взял меня за руку на струге, до этого вечера, — я ношу его так же. Я ношу его там же, где он меня: в груди, за рёбрами, в том тёплом тёмном месте, где живут самые главные страхи и самые главные надежды.

— И что же нам делать? — спросила я.

— Жить, — сказал он. — Жить, и смотреть, и ждать. И не давать Вериге того, чего он хочет. А чего он хочет — мы пока не знаем. Но он хочет. Это я тебе говорю, как толмач: когда человек мокрый, а говорит сухо, — он хочет. Он всегда хочет.

И он ушёл, так же тихо, как пришёл, а я осталась стоять у окна, глядя на Волгу, и думала, что вода, которая вела меня сюда, привела меня не только к Вериге. Она привела меня к Ивану.

И я не знала, хорошее это дело или плохое, спасительное или погибельное. Я знала только одно: я его ношу. Там, за рёбрами, в тёплом тёмном месте. И я не хочу его отдавать.

***

Верига позвал меня к себе на третий день моего житья в тереме.

Он сидел в своей клетушке — не в горнице, а в узкой, длинной, как могила, комнате, где пахло чернилами, старой бумагой и мокрыми волосами, — и перед ним на столе, залитом воском, лежали свитки и книги. Он не поднял головы, когда я вошла, и я стояла у двери, чувствуя, как сырость в комнатке оседает на коже, как она собирается в воздухе, как она, кажется, дышит.

— Подойди, — сказал он, не поднимая головы.

Я подошла. На столе, на тёмной от воска доске, лежал лист бумаги, и на нём было что-то нарисовано — не пером, а, кажется, водой: поблёскивающие, влажные линии, складывающиеся в узор, похожий на извивы реки.

— Видишь? — спросил Верига. — Что видишь, послушница?

Я смотрела на влажный узор и чувствовала, как в груди у меня начинает зудеть, как будто вода в этой комнате узнаёт меня, тянется ко мне, хочет, чтобы я её узнала в ответ.

— Это река, — сказала я. — Это Волга.

— Волга, — повторил Верига, и в голосе его прозвучало удовлетворение старого мастера. — Волга-матушка. Ты умеешь видеть, послушница. Это хорошо. Это я и хотел проверить. А теперь скажи: ты видишь её дно?

Я помолчала. Я не понимала вопроса — или понимала, но боялась ответить.

— Дно реки? — переспросила я. — Вода мутная. Дна не видно.

— Дно не видно глазу, — сказал Верига, и голос его стал тише, мягче, вкрадчивее. — Дно видно тем, кто умеет видеть сквозь. Ты умеешь, послушница. Ты видишь утопленников.

Ты видишь тех, кто стоит у воды. Значит, ты видишь и то, что на дне. Ну же. Посмотри. Скажи мне, что лежит на дне Волги.

Я закрыла глаза. Я не хотела — но его голос, тихий, вкрадчивый, как шелест бумаги, вёл меня, и я не могла сопротивляться, как не может сопротивляться вода течению. И я увидела.

Дно Волги.

Оно не было грязью и песком. Оно было — как город, как огромная, тёмная, молчаливая слобода, где вместо улиц — русло, где вместо домов — затонувшие лодки, где вместо людей — они. Заложные. Их было великое множество — они стояли, как стояла процессия на речке у перевала, — рядами, лицами вверх, и глаза их были открыты, и все они смотрели на меня, и все они, одними губами, беззвучно, шевелили одно и то же слово.

— Что они говорят? — спросил Верига, и голос его был рядом, у самого уха.

— Они говорят: «Открой», — сказала я. И очнулась.

Я стояла перед столом, дрожа, с мокрым от пота лбом, и Верига смотрел на меня из-под налитых век, и в глазах его, чёрных, как чернила, без дна, было то, что я видела у людей, которые смотрят на диковинную вещь, которую купили: торжество.

— Открой, — повторил он, смакуя. — Вот оно что. Они говорят — «открой». Значит, дверь. Значит, не ошибся я. Значит, ты — та самая.

Он встал из-за стола, подошёл ко мне вплотную — я не отступила, не смогла, ноги не слушались, — и взял меня за подбородок, и посмотрел мне в глаза — долго, пристально, как смотрят в колодец, чтобы увидеть воду.

— Слушай меня, послушница, — сказал он, и голос его был тихий, как вода по камню. — Ты — дверь. Я это знал, я это видел, я тебя ждал. И ты — моя. Не атаманова, не воеводина, не этого казачонка, который к тебе шляется. Моя. Потому что я — ключник. Я стерегу то, что на дне. И что бы тебе ни говорили, что бы ты ни видела, — запомни: дверь не открывают. Дверь держат закрытой. А кто её откроет — тот утопит весь мир. Ты поняла?

Я смотрела в его чёрные глаза и не могла отвести взгляд. И я слышала — внутри себя, под рёбрами — как заложные на дне Волги, все разом, шевелят губами: «Открой. Открой. Открой».

— Я поняла, — сказала я. — Дверь держат закрытой.

Верига отпустил меня, отвернулся и снова сел за стол.

— Ступай, — сказал он. — И не забудь: ты — моя послушница. Я тебя не неволю — ты сама пришла. Но помни: из воды пришли — в воду и уйдёте. И я, и ты, и весь этот город.

Я вышла из клетушки, дрожа, и в коридоре меня встретила сырость — запах мокрых волос, прелой бумаги, холодной воды. И мне показалось — нет, я была уверена, — что за моей спиной, в клетушке, Верига тихо, довольно рассмеялся, и смех его был как журчание воды по чёрным камням.

Я шла по коридору, и мне казалось, что пол под ногами — не доски, а вода, и что она несёт меня, как несла всю дорогу: от Астрабада до струга, от струга до терема, от терема до этой комнаты. И я не знала, то ли я плыву, то ли тону. Вода, которая меня вела, оказалась уже не моей — она была везде, она слушалась Веригу, она слушалась реку, она слушалась дно. И только одно во мне было ещё своё, тёплое, живое — то, что лежало за рёбрами, в тёмном тёплом месте, где я носила Ивана.

Я сжала это в кулаке, как сжимают жемчужину, и пошла к себе, к окошку на реку, и смотрела на Волгу до темноты, и ждала, и надеялась, что вода — хоть раз — принесёт мне не страх, а покой.

Вода молчала. Но она меня слышала, я это знала. Она всегда меня слышала.

***

Прошло две недели. Я училась жить в Астрахани.

Это было нелегко — учиться жить среди чужих, когда внутри тебя, за рёбрами, лежит тёплый комок, в котором — Иван, и когда на каждом шагу тебя ждёт вода, а вода — это всегда напоминание о том, кто ты есть. Я ходила на базар с ключницей Пелагеей, учила русские слова, училась понимать русские обычаи, училась молчать, когда хочется кричать. И всё это время я ждала.

Ждала, когда Верига позовёт меня снова. Ждала, когда вода покажет мне новое дно. Ждала, когда Иван придёт — вечером, тихо, притворив за собой дверь, и сядет на край лавки, и будет рассказывать мне о Доне, о степи, о воле, о том, как пахнет весенняя вода на разливе, — и я слушала его, и мир за окном становился светлее, и даже Волга, жирная и могучая, казалась мне не такой страшной.

— На Дону, — говорил Иван, — на Дону вода не такая, как здесь. Она быстрая, гордая. Она не ждёт, а несёт. И казаки на ней — как звери на свободе: каждый сам себе хозяин. Там нет воевод, нет дьяков, нет бояр. Там круг. Круг решил — и степь слушает.

— А женщины? — спросила я. — Там на Дону, на кругу, женщины тоже есть?

Иван помолчал, потом усмехнулся — той своей светлой усмешкой, от которой у меня внутри разливалось тепло:

— Женщины на Дону — по домам, по куреням. Но есть и такие, что у воды стоят. Не знаю, как тебе сказать. Никогда не думал, что мне придётся это говорить девке.

— Говори как есть, — сказала я. — Я не боюсь правды.

— На Дону, — сказал он, глядя мне в глаза, — на Дону женщина, которая умеет видеть воду, — это сила. Её боятся и уважают. Она стоит выше воевод. Потому что вода — это жизнь. А кто видит жизнь глубже, чем все, — тот и есть самый сильный. — Он помолчал. — Тебя бы там приняли, Ширин. Тебя бы там приняли, как свою.

У меня перехватило дыхание. «Тебя бы там приняли». Это было так просто, так тепло, и так невозможно — потому что я была в Астрахани, я была послушницей дьяка Вериги, я была вещью воеводы, и дорога на Дон, к той воле, о которой он говорил, — она лежала через воду, а вода — это была я сама.

— Не говори так, — сказала я тихо. — Не зови туда, куда нельзя дойти.

— Всё можно, — сказал Иван. — Всё можно, Ширин. Вода — она на то и вода, что пути не имеет. Она сама путь. Понял я это недавно, на Дону, когда смотрел, как весной вскрывается река. Лёд стоит, стоит — а потом разом трогается, и несёт его, и с ним всё несёт, и берега другие. Вот и я так. Стоял, стоял — а ты пришла, и тронулся.

Он сказал это просто, без пафоса, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Я не знала, что ответить. Я смотрела на него, на его светлую усмешку, на тёплую искру в серых глазах — и понимала, что он говорит правду: он тронулся. И я вместе с ним.

— Иван, — сказала я, — ты не должен. Ты же понимаешь, что у нас — ничего не будет. Я — вещь. Я — послушница Вериги. Завтра меня могут отдать другому воеводе, или продать, или утопить. И ты не сможешь ничего сделать, потому что ты — один, а их — город.

— Пусть, — сказал он. — Пусть. Я всё равно тронулся. Стоял, стоял — и тронулся. Нешто река спрашивает, что её ждёт на берегах? Нешто она из-за этого не течёт?

И он взял мою руку — впервые с того мига, как на струге вёл меня через палубу, — и сжал её, тёплую, шершавую, сильную, и я почувствовала, как по руке, от ладони к плечу, к груди, к тому тёмному месту за рёбрами, идёт жар, и я сжала его руку в ответ, и мы сидели так, молча, у окошка на реку, и за окном текла Волга, огромная, молчаливая, и мне казалось, что весь мир, вся тьма, все заложные на дне, весь Верига со своими чёрными глазами — всё это отступило, и есть только мы вдвоём, и рука в руке, и вода за окном.

А наутро пришло известие, от которого всё переменилось.

***

Весть принёс гонец — верховой, в пыли, чуть не загнавший лошадь. Он прискакал с низовья, из-за Волги, и кричал, спотыкаясь, ещё на воеводском дворе:

— Караван! Караван идёт! Бухарский, с товарами! Воеводу зовите, воеводу!

Я была в этот час во дворе — помогала Пелагее развешивать бельё, и, услышав крик, замерла, прижимая к груди мокрую простыню. Караван. Бухарский. С товарами.

Бухарский караван — это было то, о чём в Астрахани говорили шёпотом и с блеском в глазах: верблюды, тюки с шёлком, хлопком, пряностями, серебро, ковры, живой товар. Отец когда-то водил такой караван через Астрабад — и рассказывал, что на пути каравана всегда плетутся тёмные дела: разбойники, тати, лихие люди, а иногда и хуже — недобрые, что ходят по воде.

Мне не надо было гадать, что это значит. Я почувствовала это раньше, чем услышала: закололо под ложечкой, заныло в груди, и на языке появился знакомый привкус — соль.

Вечером меня позвал воевода.

Он сидел в горнице, при свечах, и перед ним стоял дьяк Верига — бледный, как бумага, с чёрными глазами, в которых, как мне показалось, было что-то новое: недовольство, тревога, а может, и злость.

— Девка, — сказал Прозоровский, не поднимая глаз. — Дьяк Верига говорит, ты умеешь смотреть сквозь воду. Так ли?

— Да, господин воевода, — сказала я тихо.

— Тогда пойдёшь с дьяком на пристань. Бухарский караван идёт к Астрахани, и с ним — недоброе. Говорят, на караване — заражённые люди. Мор. Ежели болезнь к городу придёт — всем смерть. А ты, девка, ежели видишь сквозь воду, увидишь и сквозь паруса, что там, на стругах, за люди. Ступай. Смотри. Что увидишь — скажешь дьяку. Он мне доложит.

Я поклонилась и пошла. У меня в груди, за рёбрами, тёплый комок — Иван — сжался в кулак, и я знала, что это значит: страх.

На пристани было людно. Смеркалось, и Волга, тёмная, жирная, медленная, лежала передо мной, как зверь, который ждёт. Бухарский караван стоял на рейде — три струга, тяжёлых, гружёных, с тёмными парусами, и к ним уже шли лодки с досмотром. А я стояла на берегу, рядом с дьяком Веригой, и смотрела на караван, и внутри у меня всё холодело.

— Ну, — сказал Верига, и голос его был тихий, как шелест бумаги. — Смотри, послушница. Что ты видишь?

Я смотрела. Я не хотела — но я смотрела, потому что не могла не смотреть, потому что вода, которая вела меня всю жизнь, теперь тянула мой взгляд, как тянет нить паук, и я видела — сквозь паруса, сквозь борта, сквозь тёмную воду — то, что было на стругах.

И то, что я увидела, было страшнее мора.

На бухарских стругах, среди тюков с товаром, сидели не люди. Сидели заложные — сотни, тысячи, они были везде: на палубах, в трюмах, в тёмных углах, на вёслах, на мачтах, и глаза их были открыты, и все они смотрели на меня, и все они шевелили губами — беззвучно, одними губами:

— Открой. Открой. Открой.

А среди них, на носу первого струга, стоял живой человек — высокий, смуглый, в богатом халате, с бородой, крашенной хной, — и он смотрел на берег, на Астрахань, на меня, и в глазах его — я видела это, я видела слишком хорошо — не было ничего человеческого. Только вода. Чёрная, глубокая, без дна.

— Что ты видишь? — повторил Верига, и в голосе его прозвучало нетерпение.

— Я вижу, — сказала я, и голос мой дрогнул, — я вижу, что это не караван. Это — дно пришло. Оно пришло по воде, и оно хочет, чтобы я открыла.

Верига молчал. Я не поворачивала головы, но чувствовала, как он смотрит на меня — чёрными глазами, без дна, — и как внутри у него что-то шевелится, как вода в глубоком месте.

— Дно пришло, — повторил он медленно, смакуя. — Дно пришло, чтобы ты открыла. Вот оно что. Вот она, значит, цена. — Он помолчал, потом сказал, и голос его стал жёстче: — Смотри, послушница. Смотри и запоминай: то, что пришло по воде, — оно пришло не за тобой. Оно пришло за тем, что ты держишь. За тем, что лежит за дверью. А дверь держат закрытой. Поняла?

— Я поняла, — сказала я.

— Тогда ступай в терем, — сказал Верига. — И не вздумай никому рассказывать, что ты видела. Это — наша тайна, послушница. Твоя и моя. И береги себя, — добавил он, и в голосе его, впервые, мне почудилась странная, почти отеческая нотка. — Береги себя, потому что ты — дверь. А дверь, которую открыли, — это смерть.

Я пошла в терем. Вечером ко мне, как обычно, тихо, пришёл Иван, и я рассказала ему всё — про караван, про заложных, про то, что я видела сквозь паруса. Он слушал, не перебивая, и лицо его, светлое, открытое, постепенно темнело, и когда я закончила, он долго молчал, глядя в пол, и потом сказал, тихо и ровно:

— Значит, так. Караван этот надо обходить стороной. И Веригу этого надо обходить стороной. И тебе, Ширин, надо уходить. Слышишь? Не сегодня, не завтра, но надо. Этот город, эта вода, этот дьяк — они тебя съедят. Они тебя всю съедят, до косточки, как съедают реки тех, кто слишком долго в них стоит.

— Куда же мне идти? — спросила я. — Куда я могу идти, Иван? Я — вещь. Меня воеводе отдали.

— Отдал атаман, — сказал Иван. — Атаман сказал — отдал? Атаман сказал, что отдал её воеводе, как дар. А ты не дар, Ширин. Ты — человек. И атаман это знает. Атаман — он не злой. Он — как вода: он берёт, что ему надо. А ему, может, надо не то, что он взял.

— Что ты хочешь сказать?

— Хочу сказать, — сказал Иван, и в глазах его загорелась та самая светлая искра, — что атаман, может, и не знает, что он тебя отдал. Может, он тебя отдал, чтобы ты разведала Астрахань. Может, он тебя отдал, чтобы ты смотрела и ждала. А может, — он помолчал и добавил совсем тихо, — а может, я просто не хочу, чтобы ты здесь оставалась. Потому что я не хочу, чтобы тебя съели.

Я смотрела на него, и у меня снова перехватило дыхание, и я чувствовала, как тёплый комок за рёбрами — Иван — разгорается, как жар, как огонь, как тот самый лёд, что трогается весной на Дону.

— Не уходи, — сказала я. — Не уходи, Иван. Я не знаю, что будет завтра. Но сегодня — не уходи.

Он не ушёл. Он остался, и мы сидели у окошка на реку, и за окном текла Волга, огромная, молчаливая, и в ней, где-то на дне, лежало то, что я не смела называть, — и мы, двое, сидели на краю этой воды, и держались за руки, как держатся за край, чтобы не упасть.

***

Утром я узнала, что бухарский караван не вошёл в Астрахань.

Воевода Прозоровский, выслушав донесение дьяка Вериги, не стал дожидаться, пока мор (или не-мор, кто его знает) перекинется на город, — и отправил на рейд струги с досмотром, а те, по воеводиному слову, сделали то, что делают со всем недобрым, что приходит по воде: сожгли.

Я узнала об этом на базаре, куда ходила с Пелагеей за травами. Торговка, жена стрельца, рассказывала, захлёбываясь, как на рейде полыхали три бухарских струга, как визжали на них люди, как пахло жареным мясом, и как вода вокруг, говорят, вскипела.

— Вскипела, вскипела, — кивала торговка. — Река-то как котёл. Святые угодники, заступники наши, отвели беду. Мор не пустили, сожгли его вместе с товаром.

Я слушала и чувствовала, как внутри меня, за рёбрами, тёплый комок — Иван — сжимается в кулак. Я видела, что было на тех стругах. Я видела сквозь паруса — заложные, толпами, с открытыми глазами, шевелящие губами: «Открой. Открой». А среди них — живой, смуглый, с бородой, крашенной хной, — человек, в глазах которого была вода. Я не знала, кто он. Но я знала, что он не был мором. И что его сожгли вместе с остальными — а значит, что-то, что хотело до меня добраться, до Астрахани, до этой воды, теперь лежит на дне, среди пепла и обгорелого дерева.

Или не лежит.

Я не знала. Я знала только одно: Верига сказал вчера, что «дно пришло». И воевода утопил его — или сжёг, — не спросив, что это было. И я, послушница, девка-дверь, стояла на базаре, слушала, как торговка рассказывает про пожар, и чувствовала, как вода под моими ногами — та самая, родная, что вела меня всю жизнь, — вдруг становится чужой, тёмной, глубокой, и как из неё, из глубины, поднимается холод.

Вечером ко мне пришёл Иван. Мы сели у окошка, и я рассказала ему то, что знала о караване. Он слушал, не перебивая, и лицо его, светлое, открытое, постепенно темнело, и когда я закончила, он долго молчал, глядя на реку, и потом сказал, тихо и ровно:

— Значит, так. Это не конец. Это только начало. Верига не утопил дно — он его спрятал. А то, что спрятано, — оно вернётся. Вода всегда возвращает то, что в неё поверили.

— Откуда ты знаешь?

— Я не знаю, — сказал Иван. — Я чувствую. Я вырос на воде, Ширин. Я с детства знаю: что бы ты ни бросил в реку — оно не тонет навсегда. Оно лежит, ждёт, и возвращается, когда реке надо. Вот эта вода, эта Волга, — она не отпустит то, что ты видела. Она его вернёт. И когда она его вернёт, — он сжал мою руку, и рука его была тёплая, сильная, — когда она его вернёт, ты должна быть далеко отсюда.

— Куда же мне идти? — спросила я. — Куда я могу идти?

— На Дон, — сказал Иван. — На Дон, Ширин. Туда, где воля, где нет воевод, где атаман. Ты говоришь, тебя отдали воеводе. А я говорю — атаман не отдавал. Атаман не умеет отдавать то, что ему нужно. А ты ему нужна. Ты — ключ. Ты — дверь. И он за тобой вернётся. Я это знаю.

— Откуда?

— Потому что он — вода, — сказал Иван. — А вода не бросает своих. Спроси любого казака. Атаман никого не бросает.

Иван ушёл поздно ночью. А я осталась сидеть у окошка, глядя на Волгу, и думала о том, что он сказал: «Вода не бросает своих». Вода не бросила мою мать — она её взяла. Вода не бросила отца — она его забрала. Вода не бросила меня — она меня ведёт. И я не знала, то ли это забота, то ли это охота, то ли это просто такова вода — брать, вести, ждать, возвращать.

За окном текла река. В ней, на дне, лежало что-то чёрное, тёплое, живое — то, что я видела сквозь паруса. И я знала: Иван прав. Оно вернётся. Вода всегда возвращает то, что в неё поверили.

А я — я верила. Я верила в воду, которая вела меня сюда. Я верила в заложных, которые шли за мной по воде. Я верила в дверь, которая ждала меня на дне. И я верила — с тёплым комком за рёбрами, — что Иван меня не бросит. Что вода, которая вела меня всю жизнь, приведёт меня — к нему или от него, не знаю, — но не бросит.

Потому что вода не бросает своих.

А я — своя. Я — вода. Я — та, что не тонет.

Я — дверь.

***

В ту ночь я впервые за долгое время уснула спокойно.

Мне снилась Волга — не чёрная, не жирная, как днём, а светлая, утренняя, залитая солнцем, и по ней шла лодка, и в лодке сидел человек, и я знала, что это — он, Иван, и что он гребёт к берегу, ко мне, и что вода под его вёслами — мирная, родная, тёплая. Я смотрела на него со смутной, сладкой тоской — и вдруг лодка остановилась, и человек обернулся, и я увидела, что это не Иван.

Это был другой. Тёмный, высокий, смуглый, с бородой, крашенной хной, и в глазах его, чёрных, как вода на дне, не было ничего человеческого.

— Ты думала, я сгорел, — сказал он, и голос его шёл, как из-под воды, — из глубины, глухо, тёпло. — Но я не сгорел, Ширин. Огонь не берёт воду. Вода уходит вниз. И я ушёл вниз. Я жду тебя на дне. Я жду, когда ты откроешь.

Я проснулась с криком, вся в поту, и до рассвета сидела у окошка, глядя на реку, и не могла понять, то ли это был сон, то ли вода пришла ко мне, чтобы сказать: я здесь, я жду, я вернусь.

За окном текла Волга. Тёмная, могучая, молчаливая.

Она ждала.

Глава 2. Чёрные паруса

«Море отдаёт тому, кто не боится его ждать»— персидская пословица

После сожжения бухарского каравана в Астрахани наступила странная, выжидательная тишина.

Город дышал, как дышит зверь после бега: ровно, но с оглядкой. На базаре стало тише, торговки переговаривались вполголоса, стрельцы на стенах глядели на реку дольше, чем положено, и все, все без исключения, смотрели на Волгу — на ту самую, широкую, могучую, что лежала у ворот города, как огромный тёмный зверь, и ждала.

Я знала это чувство. Я выросла с ним. В Астрабаде, когда море замирало, как замирает зверь перед прыжком, — город тоже так дышал, и базар так же стихал, и все смотрели на воду, хотя никто не мог бы сказать, чего именно они ждут. Чего-то. Чего-то такого, что всегда приходит по воде.

Теперь это «что-то» было здесь, в Астрахани. Я его видела. Оно стояло на рейде, в обгорелых остовах сожжённых стругов, оно лежало на дне, под пеплом и илом, и оно ждало — как ждал я, как ждал Верига, как ждал весь город, сам того не зная.

Я ждала вместе с ними.

Дни шли за днями. Я делала, что велели: помогала Пелагее, служила при дьяке, училась русским порядкам. Верига больше не звал меня смотреть на дно — он держал меня при себе, как держат дорогую вещь: на виду, под рукой, и при этом не касаясь. Он заставлял меня переписывать бумаги — длинные списки, челобитные, сказки, — и пока я переписывала, он сидел в своей клетушке, пахнущей чернилами и мокрой бумагой, и смотрел на меня из-под налитых век, и я чувствовала, как его взгляд — чёрный, без дна — скользит по мне, как вода по камню, и ждёт чего-то. Чего — я не знала. Но ждал.

— Хорошо пишешь, — сказал он однажды, когда я кончила переписывать длинную сказку и положила перо. — Ровно, чисто. Откуда у девки такая рука?

— Отец учил, — сказала я. — Отец говорил, грамотная девка дороже приданого.

— Умный был твой отец, — сказал Верига, и в голосе его не было ни злобы, ни насмешки — только ровная, оценивающая вода. — Умные люди, послушница, понимают, что слово — это сила. Не сабля, не золото, не город — слово. Сабля отнимает жизнь, золото покупает её, а слово — слово управляет жизнью. Напиши на бумаге, что город сдался, — и город сдастся. Напиши, что река ушла, — и река уйдёт. Напиши, что человека нет, — и человека не станет. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала я, хотя понимала не до конца.

— Не понимаешь, — сказал Верига, и уголок его тонких губ дрогнул — не улыбкой, а чем-то вроде усмешки. — Но научишься. Ты — послушница. Я тебя учу. А учиться, послушница, — это значит учиться держать слово. Слово — это заслон. Чем больше слов ты умеешь держать, тем больше заслонов ты можешь поставить. Против воды — бумажный заслон. Против людей — бумажный заслон. Против смерти — тоже, пожалуй, бумажный.

Он поднялся, подошёл к стене, и я увидела то, чего не замечала раньше: стены его клетушки были завешаны бумагой. Не свитками, не книгами — просто листами, исписанными мелким, ровным, почти печатным почерком, и они висели вплотную друг к другу, как рыбья чешуя, и от них пахло — я уловила этот запах сразу, прежде чем поняла, что вижу, — мокрыми волосами.

— Видишь? — сказал Верига. — Это мой заслон. Каждый лист — слово. Каждое слово — гвоздь. Я прибил ими эту комнату ко дну, послушница. Что бы ни пришло по воде — оно не

пройдёт сквозь мои слова. А что бы ни пришло по земле — оно не пройдёт сквозь мои слова. Я — ключник. Я стерегу то, что на дне. И я знаю, как это стеречь.

Он повернулся ко мне, и глаза его — чёрные, без дна — на миг стали глубже, чем прежде, и я почувствовала, как сырость в комнате сгущается, как воздух становится тяжёлым, как он, Верига, — он, а не вода, — давит на меня со всех сторон.

— Запомни, послушница, — сказал он. — Ты — дверь. А я — ключник. Мы с тобой — одно дело. И пока я держу заслон, ты в безопасности. А что будет, если заслон падёт — если кто-то снимет мои слова со стен, если кто-то сожжёт эту бумагу, если кто-то — кто-то живой или неживой — пробьёт дыру в моём заслоне — то всё, что пришло к нам сегодня, придёт снова. И оно придёт за тобой, Ширин. Оно всегда приходит за дверью.

Я стояла посреди его клетушки, среди бумажных стен, и чувствовала, как холод ползёт по спине, как он заползает под кожу, как он оседает в лёгких. Верига говорил правду. Я чувствовала это всем телом, той особой сыростью, что всегда предвещала заложных. Он — ключник. Он — заслон. И если его заслон падёт — всё, что я видела на рейде, всё, что смотрело на меня сквозь паруса, всё, что лежало на дне, — оно придёт.

И оно придёт за мной.

— Я поняла, господин дьяк, — сказала я, и голос мой был ровный, хотя внутри у меня всё дрожало. — Я буду держать ваши слова.

— Будешь, — сказал Верига. — Будешь, послушница. Я в тебя верю. — Он помолчал, потом достал из-за пазухи небольшой, сложенный вчетверо лист бумаги и протянул мне. — Возьми. Это — твой талисман. На нём — мои слова. Пока он при тебе — вода тебя не тронет, а заложные не потянутся. Носи при себе, не снимай, не показывай никому.

Я взяла лист. Он был тёплый, как живой, и пах чернилами и мокрой бумагой. Я хотела его развернуть, но Верига отрицательно качнул головой:

— Не смотри. Пока не смотришь — он силён. Откроешь — увидишь, что я тебе написал, и можешь испугаться. Носи, не глядя. Верь мне. Я тебя берегу.

Я спрятала лист за пазуху, как он велел, и вышла из клетушки, и в коридоре, среди сырости и запаха мокрых волос, я вдруг почувствовала, что за пазухой у меня стало тепло и тяжело, как будто я несу не бумагу, а что-то живое, и что от этого живого веет — нет, не страхом, а чем-то другим: заслоном. Словом. Силой, которая держит.

Я шла по коридору, и мне казалось, что я несу на себе бумажный щит, и что пока он при мне, я в безопасности.

И мне было страшно от того, как сильно я этому верю.

***

Той же ночью ко мне пришёл Иван.

Он пришёл не через дверь — через окно, тихо, как вода, и я сначала не поняла, что это он, — только почувствовала, как в комнате стало темнее, и обернулась, и увидела его силуэт на фоне лунной дорожки на Волге.

— Ты чего, — прошептала я. — Тебя же убьют, если увидят.

— Не убьют, — сказал он, садясь на край лавки. — Я невидимый, когда надо. На Дону научился. — Он помолчал, потом сказал, и в голосе его была та самая лёгкая усмешка, от которой у меня размягчалось внутри: — А ты чего такая бледная? Опять дьяк тебя мучил?

Я рассказала ему всё. Про заслон, про бумажные стены, про талисман. Он слушал, не перебивая, и когда я закончила, долго молчал, глядя в пол, и потом сказал:

— Покажи.

— Что?

— Талисман. Покажи.

Я достала из-за пазухи сложенный вчетверо лист. Иван взял его, не разворачивая, поднёс к лицу, понюхал, потом положил на ладонь и долго смотрел на него, как смотрят на вещь, которую оценивают.

— Бумага, — сказал он наконец. — Бумага и чернила. А ты говоришь — сила. — Он сунул лист мне обратно. — Носи, коли велено. Только помни, Ширин: бумага горит. Что бы ни написал этот твой Верига — бумага горит, и тогда весь его заслон — дым. Не в бумаге сила. Сила — в том, кто её держит. А держит её — ты. Поняла?

Я поняла. И оттого, что он сказал это так просто, так ровно, как говорят о самом очевидном в мире, — мне вдруг стало легче, чем от всех Веригиных слов вместе взятых.

— Иван, — сказала я. — Ты боишься его?

— Боюсь, — сказал он просто. — Я не дурак. Я видел его у колодца. Я видел, как вода к нему поднимается. Но страх — он не повод, Ширин. Страх — это вода под ногами. Боишься — и тонешь. Не боишься — и идёшь по верху. Я не хочу тонуть. Я хочу идти по верху. С тобой.

Он взял мою руку. Его ладонь была тёплая, сухая, надёжная, и я сжала её, как сжимают край — чтобы не упасть.

— Иван, — сказала я. — Ты говорил, атаман вернётся. Ты в это веришь?

— Верю, — сказал он. — Атаман — вода. А вода всегда возвращается туда, где её ждут. Астрахань — это жемчужина, Ширин. Атаман не отдаст жемчужину просто так. Он вернётся. И когда он вернётся — мы должны быть готовы.

— Готовы к чему?

— К тому, чтобы уйти, — сказал Иван. — Уйти с ним, на Дон, в волю. Я для того и остался, Ширин. Я остался, чтобы вывести тебя отсюда, когда придёт время. Ты — ключ. Ты — дверь. Но тебе не обязательно быть дверью для Вериги. Ты можешь быть дверью для себя.

Он сказал это, и я почувствовала, как у меня защипало глаза. «Ты можешь быть дверью для себя». Никто — ни бабка Шираз, ни мать, ни отец, ни Верига — никто не говорил мне этого. Все говорили: ты — дверь, ты должна, ты откроешь, ты держи закрытой. А Иван сказал: ты можешь быть дверью для себя.

— Иван, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Я не знаю, как быть дверью для себя. Я всю жизнь была дверью для других.

— Научишься, — сказал он. — Я рядом. Научусь с тобой.

Он не сказал больше ничего — но его рука, тёплая, сухая, надёжная, сжимавшая мою, говорила за него. Мы сидели у окна, за которым текла Волга, огромная, лунная, молчаливая, и мне казалось, что весь мир, все страхи, весь Верига со своими бумажными стенами — всё это отступило, и есть только мы вдвоём, и рука в руке, и лунная дорожка на воде, и обещание, которое ещё не было сказано словами, но уже было дано — рукой, сжавшей руку, и взглядом, который встретился со взглядом.

— Иван, — сказала я наконец. — Я хочу показать тебе кое-что.

— Что?

— Воду.

Он посмотрел на меня — внимательно, изучающе, и в глазах его мелькнула та самая светлая искра:

— Воду, говоришь. У нас тут, на Волге, воды — хоть залейся. Какую ещё воду ты мне покажешь?

— Не ту, что снаружи, — сказала я. — Ту, что внутри. Ту, что я вижу. Пойдём.

Я встала, накинула на плечи старую бурку, ту самую, пахнущую чужим человеком, и мы вышли из терема — не через ворота, а через заднюю калитку, мимо спящих псов, мимо конюшен, к реке. Ночь была лунная, светлая, и Волга лежала перед нами — огромная, серебряная, с дорожкой лунного света, ведущей к самому горизонту.

Я подошла к самой кромке воды. Сзади, в двух шагах, остановился Иван. Я чувствовала его взгляд — тёплый, внимательный, — и мне было спокойно от того, что он рядом, что я не одна, что кто-то стоит за моей спиной и держит меня, если я оступлюсь.

— Смотри, — сказала я. — Смотри на воду. Ты её видишь?

— Вижу, — сказал Иван. — Река. Луна. Красиво.

— А теперь смотри глазами, которыми смотрю я, — сказала я. — Не глазами. Другими. Теми, что внутри. Смотри, и скажи мне, что ты видишь.

Иван смотрел на воду долго. Сначала так, как смотрит всякий человек, — на поверхность, на луну, на дорожку света. Потом — я видела это по его лицу — он стал смотреть глубже. Не глазами — чем-то другим, тем, что внутри, тем, что умеет видеть не по внешности, а по сути.

— Там что-то есть, — сказал он наконец, и голос его был тихий, ровный, без удивления — как голос человека, который увидел то, что давно подозревал. — Там, на дне. Не тонет. Что-то стоит, и оно смотрит на нас.

Я почувствовала, как у меня похолодело внутри. Он видел. Он, простой казачий толмач, без дара, без крови, без родовой памяти, — он видел то, что я видела всегда: заложных. Они стояли на дне, у самого обрыва, — тёмные, мокрые, молчаливые, и смотрели на нас, и ждали.

— Ты их видишь, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Ты их правда видишь?

— Вижу, — сказал Иван, и в голосе его не было страха — только ровная, спокойная решимость. — Что это, Ширин? Кто это?

— Это заложные, — сказала я. — Те, кого вода взяла и не отдала. Они стоят у воды и ждут. Ждут, когда дверь откроется. Ждут, когда придёт тот, кто сможет их выпустить.

— Ты.

— Я, — сказала я. — Я — дверь.

Иван долго молчал. Он смотрел на воду, на тёмные фигуры на дне, и лицо его было спокойно, и я видела, как он принимает то, что я ему сказала, — не борясь, не отшатываясь, а просто принимая, как принимают погоду: она есть, и с ней надо жить.

— Значит, так, — сказал он наконец, и голос его был ровный. — Ты — дверь. Они — заложные. Верига — ключник. А я — я, Ширин, я буду тем, кто стоит рядом с дверью. Не открывает, не закрывает. Просто стоит. И если что — я тебя прикрою.

Он сказал это просто, как самое очевидное в мире, и я почувствовала, как у меня защемило в груди — от того, что он так легко, так просто, так навсегда встал рядом со мной, с моей тьмой, с моей дверью, с моими заложными.

— Спасибо, — сказала я. — Иван, спасибо.

— За что? — Он усмехнулся. — За то, что сказал правду? Правду говорить не трудно, Ширин. Трудно — знать, кому её говорить. А я знаю. Тебе.

Он протянул мне руку, и я взяла её, и мы стояли так, на кромке воды, над тёмным дном, над молчаливыми заложными, и луна светила нам, и Волга текла, огромная, серебряная, и мне вдруг стало легко — впервые за много дней, — как будто вся тьма, весь страх, весь Верига со своими бумажными стенами отступили, и осталось только это: рука в руке, вода у ног, и человек, который сказал, что будет стоять рядом со мной.

И я поняла, что это и есть то, о чём говорила бабка Шираз: «Зато можно полюбить того, кто подойдёт с правильной стороны, — и тогда он будет открывать тебя не как дверь, а как ладонь».

Иван подошёл с правильной стороны.

И я почувствовала, как дверь во мне — впервые за всю мою жизнь — начинает открываться не наружу, к заложным, к Вериге, ко дну, — а внутрь, к нему. К теплу. К свету. К жизни.

***

А потом случилось то, чего я не ждала.

Вода у наших ног — та самая, серебряная, лунная, — вдруг стала другой. Она не изменилась внешне: та же гладь, та же дорожка света. Но я почувствовала это не глазами — всем телом, той особой дрожью, что всегда предвещала заложных, но теперь она была сильнее, глубже, огромнее, и она шла не от берега, не с поверхности, а от самого дна, из глубины, из того места, где лежало что-то чёрное, тёплое, живое.

— Иван, — сказала я, и голос мой сел. — Иван, смотри.

Мы оба смотрели на воду. И вода — отвечала.

На дне, там, где стояли молчаливые заложные, начала подниматься муть. Не просто муть — тёмная, густая, как чернила, и в ней, в этой мути, что-то шевелилось. Не рыба, не трава — что-то крупное, тёмное, медленное, и его было много, и оно поднималось к поверхности, как поднимается стая, как поднимается войско.

— Ширин, — сказал Иван, и в голосе его впервые за всё время я услышала страх. — Что это?

— Не знаю, — сказала я. — Я не видела такого. Никогда.

Тёмная муть дошла до поверхности и остановилась. И тогда я увидела.

Это был не ил. Это были паруса.

Чёрные паруса. Они поднимались со дна — не лодки, не струги, а целый флот, огромный, тёмный, молчаливый, и они шли под водой, как идут по воде, и над ними, на мачтах, не было людей — или были, но я не могла их разглядеть, потому что глаза мои обожгло, как обжигает солью.

— Это они, — сказала я, и голос мой дрожал. — Это те самые паруса. Из моего сна. Из той ночи, когда море замерло. Они вернулись.

— Чьи они? — спросил Иван. — Ширин, чьи это паруса?

— Не знаю, — сказала я. — Но они идут за мной.

Чёрный флот шёл — медленно, торжественно, как идёт всё, что было мертво и решило вернуться. Он шёл не к пристани, не к городу — он шёл к нам, к двум фигурам на кромке воды, к девке, которая видела, и к казаку, который встал с ней рядом. И чем ближе он подходил, тем темнее становилась вода, тем гуще была муть, тем холоднее становился воздух.

— Иван, — сказала я. — Уходи. Уходи в город. Не смотри. Не дай им тебя взять.

— Не уйду, — сказал он. — Я же сказал: я стою рядом. Что бы ни пришло.

— Иван, это не твоя битва. Уходи!

— Ты — моя битва, — сказал он. — Ты — моя. И я не уйду.

Чёрный флот подошёл к самой кромке воды — и остановился. Паруса наполнились ветром, которого не было, и я увидела, что они не пустые. На палубах, на мачтах, на вёслах — стояли они. Заложные. Не те, что я видела прежде, — не рыбаки, не женщины, не дети. Другие. Воины. В тёмных доспехах, с саблями наголо, с лицами, белыми, как бумага, с глазами, чёрными, как вода на дне. И все они, как один, смотрели на меня.

А на носу головного корабля, там, где в моём сне стоял человек с глазами, которые я видела на дне, — теперь стоял другой. Тот, что приходил ко мне во сне после сожжения каравана. Тот, кого я видела на носу бухарского струга: высокий, смуглый, с бородой, крашенной хной, в богатом халате, с глазами — чёрными, глубокими, без дна. Но теперь он не был живым. Он был одним из них. Он стоял на носу мёртвого корабля, среди мёртвых воинов, и смотрел на меня, и улыбался — улыбкой, от которой у меня внутри всё оборвалось.

— Ширин, — сказал он, и голос его шёл, как из-под воды, — из глубины, глухо, тёпло. — Ты думала, я сгорел. Но огонь не берёт воду. Вода уходит вниз. Я ушёл вниз. И я ждал тебя. Я пришёл за тобой.

— Кто ты? — крикнула я, и голос мой дрожал. — Кто ты, что ты хочешь?

— Я — тот, кто был сожжён, чтобы ты не открыла, — сказал он. — Я — тот, кто был послан, чтобы ты открыла. Я — вестник дна. Я — голос тех, кто ждёт. И я пришёл сказать

тебе: время пришло, Ширин. Дно открывается. Не ты откроешь его — оно само откроется, когда будет полно. А ты — ты будешь стоять перед дверью, и ты откроешь её, потому что не сможешь не открыть. Потому что дверь — это ты.

— Нет! — крикнула я. — Я не открою! Я держу закрытой!

— Ты не можешь держать закрытой то, что уже открыто, — сказал он, и улыбка его стала шире, и от этой улыбки у меня похолодела спина. — Посмотри на себя, Ширин. Посмотри, что ты несешь.

Я опустила глаза. И увидела.

У меня на груди, под буркой, там, где Верига спрятал талисман, — горел свет. Не огонь, не свеча — а ровный, тёплый, водянистый свет, как будто бумага под тканью сама стала водой, и эта вода — светилась.

— Талисман, — прошептала я. — Верига сказал, что он защищает.

— Талисман, — повторил мертвец, и в голосе его прозвучала насмешка. — Талисман, который тебе дал ключник. Ты думала, это заслон, Ширин? Это — метка. Это — приглашение. Это — зов, по которому мы пришли. Ключник дал тебе не защиту. Он дал тебе цепь, по которой дно тянет тебя к себе. Ты уже в воде, Ширин. Ты уже стоишь на дне. Ты просто ещё не знаешь этого.

Мир покачнулся. Я стояла на кромке воды, и черный флот стоял передо мной, и на груди у меня светился талисман — не защита, а метка, — и я чувствовала, как вода у моих ног становится тёплой, как она поднимается по щиколоткам, по коленям, как она тянет меня вниз, на дно, к чёрным парусам, к открытой двери.

— Ширин! — крикнул Иван. — Ширин, сними его! Сними талисман!

Я рванула за пазуху, выхватила лист. Он был тёплый, влажный, как будто пролежал в воде, и на нём — я видела это теперь, в свете луны и его собственного свечения, — было написано одно-единственное слово, выведенное ровным, почти печатным почерком Вериги.

«Ширин».

Моё имя.

Он написал на талисмане моё имя. Не заслон, не защиту — моё имя, как приглашение, как закладную, как список. Он отдал меня воде, назвав меня по имени.

— Верига! — крикнула я, и голос мой сорвался. — Верига, что ты сделал?!

Но Вериги рядом не было. Был только чёрный флот, и мертвец на носу головного корабля, и светящееся моё имя в моих руках, и вода, поднимающаяся по моим ногам, тёплая, зовущая, неодолимая.

— Иван, — сказала я, и голос мой был тихий, ровный, как у человека, который уже всё понял. — Иван, уходи. Уходи, слышишь. Я не хочу, чтобы ты это видел.

— Я не уйду, — сказал он. — Я же сказал. Я стою рядом.

— Иван, это конец. Ты не понимаешь. Если я открою...

— Ты не откроешь, — сказал он, и в голосе его была сталь, которую я слышала на струге, когда он спорил с атаманом. — Ты не откроешь, Ширин. Я не дам тебе открыть. Ты — не дверь. Ты — человек. Ты — Ширин, дочь Ильяса, и я тебя не отдам ни воде, ни дну, ни этому мертвецу с его чёрным флотом.

Он шагнул в воду — в тёмную, тёплую, зовущую воду, — и встал между мной и чёрным флотом, и выхватил нож, и я видела, как он стоит, светловолосый, в лунном свете, над тёмной водой, среди чёрных парусов, и как он кричит — не мне, а им, всему дну, всему флоту, всему, что было мертво и вернулось:

— Она не ваша! Слышите? Она — не ваша! Она — живая! Убирайтесь на дно, откуда пришли!

И чёрный флот — остановился.

Мертвец на носу головного корабля посмотрел на Ивана — долго, внимательно, как смотрят на диковинку, — и улыбнулся, и сказал, и голос его был тихий, как шелест воды по камню:

— Ты — живой. Ты встал между дверью и дном. Это смело. Это глупо. Но это смело. Что ж, казак. Мы подождём. Мы умеем ждать. Мы ждали столько, сколько вода помнит мёртвых. Подождём и ещё немного. А ты, — он перевёл взгляд на меня, и глаза его были чёрные, без дна, — а ты, Ширин, помни: талисман — это метка. Пока метка при тебе — мы найдём тебя, где бы ты ни была. Сними его — и мы соберёмся снова. Сожги его — и мы придём за тобой, как пришли сегодня. Метку нельзя снять и сжечь. Метку можно только погасить. А погасить её может только тот, кто её поставил. Подумай об этом, Ширин. Подумай, кто поставил её на тебя. И зачем.

Он повернулся, и чёрный флот начал уходить — не в глубину, а прочь, в лунную дорожку, к горизонту, постепенно становясь всё тише, всё прозрачнее, всё дальше. Вода у моих ног похолодела. Свет на листе — погас. Я стояла на кромке воды, сжимая в руках лист со своим именем, и смотрела, как уходит чёрный флот, как он растворяется в лунном свете, как исчезает последний парус — и как на месте, где он был, остаётся только ровная, серебряная, спокойная гладь.

Иван стоял по колено в воде, по-прежнему сжимая нож, и смотрел туда, где исчез флот. Потом он обернулся ко мне — и я увидела его лицо, бледное, но спокойное, с той ровной решимостью, которая не исчезает, даже когда страх уже отпустил.

— Жива? — спросил он. — Цела?

— Цела, — сказала я, и голос мой дрожал. — Иван, ты видел? Ты всё видел?

— Видел, — сказал он. — И теперь я знаю, с чем мы имеем дело. Не с Веригой. Не с воеводой. С дном. С тем, что на дне. И я знаю, что делать.

— Что?

— Не знаю, — сказал он, и усмехнулся — той своей светлой усмешкой, от которой у меня внутри размягчалось, даже когда я была в двух шагах от гибели. — Но что-нибудь придумаю. Мы же казаки. Мы всегда что-нибудь придумываем. А ты — ты ничего не бойся, Ширин. Я рядом. Я же сказал: я стою рядом.

***

В терем я вернулась перед рассветом, мокрая, продрогшая, с листом, на котором было написано моё имя, — Верига ждал меня в своей клетушке.

Он сидел за столом, при одной свече, и лицо его, белое, как бумага, было спокойно, и только глаза — чёрные, без дна — горели в полумраке, как угли.

— Садись, послушница, — сказал он негромко. — Рассказывай.

Я не села. Я стояла у двери, сжимая в руке лист, и смотрела на него — на человека, который дал мне не защиту, а метку, который привязал меня к дну, который, может быть, и сам не знал, что делает, а может, знал всё.

— Ты дал мне это, — сказала я, и голос мой дрожал. — Ты сказал — талисман. Ты сказал — защита. А на нём — моё имя. Ты отдал меня воде, Верига. Ты привязал меня ко дну.

Верига долго молчал. Потом он поднялся, подошёл ко мне, взял из моих рук лист — бережно, как берут диковинную вещь — и посмотрел на него, на моё имя, выведенное его рукой.

— Метку нельзя снять и сжечь, — сказал он, и голос его был тихий, ровный, как вода по камню. — Метку можно только погасить. А погасить её может только тот, кто её поставил. Так сказал тебе мертвец. Он прав. И я — тот, кто её поставил. Я — ключник. Я стерегу то, что на дне. И я ставлю метки на тех, кто может открыть дверь. Не потому, что хочу им зла, послушница. А потому, что хочу их защитить. Пока метка при тебе — дно знает, где ты, и не тронет тебя, потому что ты — его. Пока метка при тебе — ни один заложный не потянется к тебе, потому что ты — не его добыча, а добыча дна. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала я, и голос мой был тихий. — Ты поставил на мне метку, чтобы защитить меня. Как ставят метку на овцу, чтобы не украли.

— Как ставят метку на то, что нельзя потерять, — поправил Верига. — Ты — дверь, послушница. Дверь нельзя потерять. Дверь нельзя отдать. Дверь можно только открыть — или запереть. Я выбрал запереть.

— А если я не хочу быть запертой?

Верига долго смотрел на меня, и в глазах его — чёрных, без дна — мелькнуло что-то, чему я не нашла названия. Не злость. Не жалость. Что-то другое. Что-то старое, тёмное, глубокое, как вода.

— А кто тебя спрашивает, послушница? — сказал он наконец. — Кто спрашивал твою мать, когда вода брала её? Кто спрашивал твоего отца, когда он шагнул с обрыва? Кто спрашивает рыбу, когда её несут на базар? Вода не спрашивает. Вода берёт. И я — я тоже не спрашиваю. Я держу. Я — ключник. Я держу дверь закрытой. И если для этого нужно поставить метку на единственном ключе — я поставлю.

Он протянул мне лист — не глядя, как протягивают вещь, которую вернули хозяину.

— Носи, — сказал он. — Носи, не снимай. Метка защищает. А когда придёт время — когда дно снова позовёт тебя, когда ты почувствуешь, что не можешь больше держать, — приди ко мне. Я сниму метку. И я открою дверь. Не потому, что захочу, послушница. А потому, что к тому времени — у меня не будет выбора.

Он отвернулся и сел за стол, и я стояла у двери, сжимая лист со своим именем, и не знала, что сказать. Он — Верига — был заслоном и краем одновременно. Он — Верига — держал меня, как держат овцу, и в то же время он говорил со мной, как с равной, как с той, кому он доверяет тайну дна.

— Господин дьяк, — сказала я наконец. — А если дно откроется без меня? Если оно будет полно — и откроется само?

Верига помолчал. Потом сказал, и голос егобыл тихий, как шелест бумаги:

— Тогда, послушница, нам всем будет очень плохо. Но мы об этом подумаем, когда это случится. А пока — ступай. Спи. И помни: ты — дверь. Я — ключник. Дверь держат закрытой.

Я вышла из его клетушки и пошла к себе, и в коридоре пахло мокрыми волосами, и мне казалось, что весь мир, вся Астрахань, вся Волга — всё это стоит на одной-единственной хрупкой грани: между закрытой дверью и открытым дном. И что я, Ширин, дочь Ильяса, девка, которая не тонет, — я стою посреди этой грани, как стоят на лезвии, и не знаю, куда упаду.

У себя в комнатке я достала лист, положила его на ладонь, посмотрела на моё имя, выведенное ровным, почти печатным почерком Вериги. И мне вдруг стало так страшно, как не было страшно никогда, — не от флота, не от мертвеца, не от дна, а от того, что я, кажется, начинаю понимать, что́ Верига имел в виду.

Он сказал: «Когда придёт время — приди ко мне. Я сниму метку. И я открою дверь».

Он говорил не «если». Он говорил «когда».

Он знал, что дверь откроется. Он знал, что это неизбежно. Он знал — и готовился, как готовится ключник, который знает, что замок сломается, и заранее решает, кому отдаст ключ.

Он готовился отдать ключ мне.

Я свернула лист, спрятала его за пазуху, как велел Верига, и легла на лавку, укрывшись буркой. За окном светало. Волга текла, огромная, серебряная, молчаливая.

И я поняла, что я — стою. Что я — дверь. Что я — метка, что я — ключ, что я — та, которую нельзя потерять, и что всё это — не моя воля, не мой выбор, а судьба, которую я не выбирала.

Но я также поняла — с тёплым комком за рёбрами, — что есть на этой земле человек, который сказал: «Ты — не дверь. Ты — человек. Я стою рядом». И что пока он стоит рядом — я, может быть, не буду просто дверью. Может быть, я буду — Ширин. Живая. Своя.

За окном текла Волга. В ней, на дне, ждал чёрный флот. А на груди у меня, под буркой, лежал лист с моим именем — метка, которую поставил ключник, чтобы дно не забрало свой ключ раньше времени.

Я закрыла глаза. И впервые за много дней — я уснула, не видя снов.

***

Утром Астрахань проснулась с новостью: ночью на реке видели огни.

Стрельцы с караульной башни божились, что по Волге прошёл флот — не торговый, не рыбачий, а чёрный, без огней, без криков, без плеска вёсел, — и что шёл он не по воде, а как будто по дну, и что над водой, там, где он прошёл, видели лунную дорожку, которая не гасла до рассвета. Купцы на пристани пересказывали друг другу, что это знамение, что пора уходить из города, что на Руси недоброе творится, коли по реке воруют у самой Астрахани. Бабы на базаре крестились и шептались про антихриста.

Я слушала всё это, пока шла с Пелагеей за хлебом, и молчала. Я знала, что это были за огни. Я знала, что это был за флот. Я знала, что он приходил за мной — и что ушёл только потому, что перед ним встал человек, который сказал: «Она не ваша».

Но я не могла этого сказать никому. Я — послушница дьяка Вериги, девка-дверь, та, что не тонет. Кто мне поверит? Кто — даже если поверит — что сможет сделать? Никто. Никто, кроме Ивана.

Иван пришёл ко мне днём — не через окно, а через дверь, открыто, как слуга воеводской избы, которому положено приносить бумаги. Он принёс мне свёрток — сухой хлеб, кусок вяленой рыбы, краюху сыра — и положил на лавку, не глядя, будто это служба.

— Ешь, — сказал он. — Ты с утра ничего не ела.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — сказал он. — Я всё про тебя знаю, Ширин. Я знаю, когда ты не ешь, когда ты не спишь, когда ты смотришь на воду. Я знаю, что ты носишь с собой лист, на котором написано твоё имя. И я знаю, что этой ночью ты опять была на кромке воды — только не одна.

Я подняла на него глаза. Он стоял у двери, светловолосый, прямой, с тёплой искрой в серых глазах, и в руке у него был нож — тот самый, который он выхватил, когда встал между мной и флотом. Он не прятал его. Он держал его так, как держат вещь, которая недавно спасла жизнь.

— Иван, — сказала я тихо. — Я боюсь.

— Знаю, — сказал он. — И это хорошо. Бояться — значит жить. Мёртвые не боятся. А ты — живая.

— Я боюсь не за себя, — сказала я. — Я боюсь за тебя. Ты встал между мной и дном. Ты сказал мертвецу: «Она не ваша». Ты бросил вызов тому, что на дне. Они не забудут этого, Иван. Они вернутся. И когда они вернутся — они придут не только за мной. Они придут за тобой.

Иван усмехнулся — той своей светлой, небрежной усмешкой, от которой у меня внутри всё переворачивалось:

— Пусть. Пусть приходят. Я казак, Ширин. Я вырос на воде. Я с детства знаю, что вода не прощает — но и не помнит. Она не помнит обид, не помнит страха, не помнит имён. Она помнит только одно: что течёт. И я — тоже. Пусть приходят. Я буду течь дальше.

— Иван, это не шутки, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Ты видел их. Ты видел, что это не люди. То, что на дне, — оно сильнее людей. Оно старше людей. Оно было здесь до нас и будет после.

— Значит, надо сделать так, чтобы оно нас не достало, — сказал Иван. — И я знаю, как.

Он шагнул ближе, сел на край лавки, рядом со мной, и заговорил — тихо, ровно, как говорят о деле, которое давно обдумали:

— Атаман вернётся, Ширин. Я это знаю не как казак, не как толмач — как человек, который прожил с ним год. Атаман не отдаёт того, что ему нужно. А ты ему нужна. Ты — ключ.

Ты — дверь. Ты — то, ради чего он, может быть, и пошёл в этот поход — сам того не зная. И когда он вернётся — а он вернётся, я это чую, — мы должны быть готовы уйти с ним. На Дон. В волю. Там нет дьяков, нет воевод, нет бумажных заслонов. Там — вода, степь, воля. И там, Ширин, ты будешь не послушницей, не меткой, не дверью. Ты будешь — Ширин. Живая. Своя. Как я сказал.

— А если он не вернётся? — спросила я. — Если он не придёт?

— Придёт, — сказал Иван. — Он придёт. Вода всегда возвращается, Ширин. А атаман — вода.

— А если Верига не отпустит меня? Если он поставил на мне метку, если он держит меня, как держат ключ, — он не отдаст меня никому. Он сказал: «Дверь держат закрытой».

— Тогда, — сказал Иван, и в глазах его загорелась та самая светлая искра, — тогда мы её откроем. Не для дна. Для себя. Ты сказала, дверь открывается изнутри, по своей воле. Вот мы и откроем её — по своей воле. Не для мертвецов, не для дна, не для Вериги. Для нас. Для жизни.

— Иван, ты не понимаешь. Если я открою — что-то выйдет. Что-то, что нельзя выпускать. Верига говорит — если открыть дверь, утонет весь мир.

— Верига много говорит, — сказал Иван. — Верига — ключник. Ему выгодно держать дверь закрытой. А я не ключник. Я — казак. Я видел, что на дне, Ширин. Я видел, как они стоят и ждут. И я не верю, что они злые. Я верю, что они — ждут. Ждут, когда кто-то придёт и выпустит их. Ждут, когда кто-то откроет дверь не для того, чтобы утопить мир, а для того, чтобы выпустить их — как выпускают птиц из клетки.

Я смотрела на него, и у меня внутри всё холодело и теплело одновременно. Холодело — от того, что он говорил то, о чём я боялась даже думать. Теплело — от того, что он говорил это мне, и говорил как о самом простом в мире деле: открыть дверь, чтобы выпустить птиц.

— Иван, — сказала я. — А если ты ошибаешься? Если Верига прав? Если дверь открывать нельзя?

— Тогда я ошибусь, — сказал он. — Я не боюсь ошибиться, Ширин. Я боюсь — не попробовать. Жить, не попробовав, — это как плыть, не окунувшись. Ты же сама сказала: вода бросает всех, рано или поздно. Так лучше попробовать — плыть или тонуть, чем стоять на берегу и ждать, когда тебя бросят.

Я долго молчала. Я смотрела на него — светловолосого, прямого, с ножом на поясе, с тёплой искрой в глазах, — и я понимала, что он прав. Что я всю жизнь стояла на берегу и ждала, когда меня бросят. Что я — дочь Ильяса, девка-дверь, та, что не тонет, — я боялась плыть, боялась открыть, боялась жить. И что он — чужой казачий толмач, которого я знаю несколько недель, — он говорит мне то, что я должна была услышать всю жизнь: попробуй. Плыви. Живи.

— Иван, — сказала я. — Я попробую. Но я боюсь.

— Бояться — значит жить, — сказал он. — Я же сказал. И я рядом. Я стою рядом, Ширин. Пока ты — моя.

Он встал, подошёл к двери, и перед тем как выйти, обернулся:

— Завтра ночью я пойду на пристань — смотреть, не идут ли струги с Дону. Атаман вернётся. Я это чую. Приходи туда, если захочешь. Я буду ждать.

И он вышел.

А я осталась сидеть на лавке, сжимая в руке свёрток с хлебом и рыбой, и думала о том, что он сказал: «Попробуй. Плыви. Живи». И о том, что завтра ночью я, может быть, впервые за всю свою жизнь сделаю что-то по своей воле — не потому, что меня бросили, не потому, что меня ведут, не потому, что я должна. А потому, что хочу.

Потому что я хочу плыть.

И потому что я хочу — чтобы он был рядом.

***

Завтра не наступило.

Той же ночью, когда город уже спал, а я сидела у окошка, глядя на Волгу, за моей спиной скрипнула дверь — и вошёл не Иван.

Вошёл гонец.

Он был весь в пыли, с лицом, белёсым от дорожной грязи, и он держал в руке свёрнутый в трубку лист, запечатанный воском. Он не смотрел на меня — он смотрел мимо, на что-то, что было позади меня, и я, обернувшись, увидела, что в дверях стоит Верига — бледный, прямой, с чёрными глазами, в которых горел холодный, ровный огонь.

— Читай, — сказал он мне. — Читай вслух, послушница. Это тебе.

Я взяла лист. Он был тёплый, как живой, и пах чернилами и мокрой бумагой. Я развернула его — и прочитала вслух, и голос мой дрогнул:

— «Степан Разин, атаман донской, целует тебя, Ширин, дочь Ильяса, через толмача Ивана Вешняка. Я иду к Астрахани. Жди меня на стрежне. Скоро будем».

Я подняла глаза. Верига стоял в дверях, и лицо его было белое, как бумага, и в глазах его — чёрных, без дна — я увидела то, чего не видела никогда: страх.

— Он идёт, — сказал Верига, и голос его был тихий, как шелест бумаги. — Он идёт за тобой. Значит, дно откроется скоро. Значит, нам всем будет очень плохо.

Он повернулся и вышел.

А я осталась стоять посреди комнаты, сжимая в руке лист от Степана Разина, и смотрела на него, и читала снова и снова: «Жди меня на стрежне. Скоро будем».

Стрежень.

Из-за острова на стрежень.

Туда, где вода течёт быстрее всего, где глубина — самая тёмная, где дно — самое близкое. Он звал меня на стрежень. Он звал меня туда, где река несёт сильнее всего — и где встречаются вода, дно и небо.

Он звал меня к себе.

А за окном, в темноте, текла Волга — огромная, молчаливая, и мне казалось, что я слышу, как она шумит, как она несёт его струги, как она, вода, ведёт его ко мне, как вела меня к нему.

Стрежень.

Я закрыла глаза. И впервые за много дней — я не уснула. Я сидела у окна и ждала, когда придёт утро, когда придёт следующий день, когда придёт он.

Жди меня на стрежне. Скоро будем.

Я ждала.

***

День до прихода стругов я прожила как во сне.

В городе было неспокойно: от Дона шли глухие, страшные слухи. Говорили, Разин взял Царицын, разбил стрельцов, идёт вниз по Волге; говорили, что за ним — голытьба, что ему открывают ворота, что никто не смеет супротив него встать, потому что он заговорённый, потому что пуля его не берёт, потому что он с чёртом знается. Говорили — и крестились, и прятали добро, и смотрели на реку, и ждали.

А я — я ждала вместе с ними, но по-другому. Я не ждала беды. Я ждала — его. Я ждала стрежня.

Днём я помогла Пелагее по хозяйству, переписала Вериге две сказки, съела кусок хлеба — и всё это делала, не проживая, потому что внутри меня, за рёбрами, гудела, как струна, одна-единственная мысль: он идёт. Он идёт по воде. Он идёт за мной.

К вечеру явился Иван.

Он пришёл через дверь, как слуга, и принёс свёрток — на этот раз не хлеб и рыбу, а тёмный, тяжёлый, в холстине.

— Бери, — сказал он, кладя свёрток на лавку. — Это тебе. От атамана.

Я развернула холстину. Внутри лежал неглубокий кожаный мешочек, туго завязанный, и на нём — восковая печать с оттиском, которого я не знала: плывущая лодка, а над ней — птица.

— Что это? — спросила я.

— Атаманова печать, — сказал Иван. — Талисман нашего братства. Он велел передать тебе, как только струги пойдут к Астрахани. Вода, говорит, знает своих. И ты — теперь своя.

Я взяла мешочек. Он был тёплый, как живой, и от него пахло смолой, мокрым деревом и — я уловила этот запах сразу, — чуть-чуть, едва заметно, мокрыми волосами.

— Иван, — сказала я. — А как же метка?

Иван посмотрел на меня — долго, внимательно, и в глазах его мелькнула та самая светлая искра:

— Метка, — сказал он. — Метка Вериги — это чернила и бумага. А атаманова печать — это вода. Вода сильнее бумаги, Ширин. Вода смывает. Не сегодня, не завтра — но смоет. А пока — носи обе. Пусть Верига думает, что ты его. А ты — ты моя. Ты — наша.

Я убрала мешочек за пазуху, рядом с листом, на котором было написано моё имя. Два талисмана. Две метки. Две цепи. И один человек, который стоит между ними.

— Иван, — сказала я. — Ты сказал, он идёт. Когда он будет здесь?

— Скоро, — сказал Иван. — Может, завтра. Может, послезавтра. Вода несёт его быстро. А ты — ты готова?

— К чему?

— Уйти, — сказал Иван. — Уйти с ним, на Дон. Уйти от Вериги, от метки, от этой клетушки. Уйти — и жить. Ты готова?

Я долго молчала. Я смотрела на него — светловолосого, прямого, с тёплой искрой в глазах, — и на лист, и на мешочек за пазухой, и на Волгу за окном, огромную, молчаливую, и я думала: готова ли я уйти? Готова ли я бросить всё — всё, что я знаю, всё, чего я боюсь, — и пойти с ним по воде, на Дон, в волю, к человеку, который зовёт меня на стрежень?

И я поняла, что готова.

— Готова, — сказала я, и голос мой был тихий, но ровный. — Я готова, Иван.

Он улыбнулся — той своей светлой, небрежной улыбкой, от которой у меня внутри всё переворачивалось, — и сказал:

— Ну и ладно. Ну и хорошо. Тогда жди. А я пойду — на пристань, смотреть. Вода — она не обманет. Она приведёт его, когда придёт срок.

Он вышел. А я осталась стоять посреди комнаты, сжимая в руках два талисмана — метку Вериги и печать Разина, — и смотрела на Волгу, огромную, серебряную, молчаливую, и ждала.

Ночью я не ложилась. Я сидела у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрела на реку, и ждала, когда на той стороне, на стрежне, появятся огни.

Они появились под утро.

Сначала мне показалось, что это звёзды — низкие, над водой, такие низкие, каких не бывает. Потом я поняла: это не звёзды. Это огни. Много огней. Они шли по стрежню, по самой середине Волги, — ровной, торжественной вереницей, как идёт всё, что несёт вода, и они приближались, и приближались, и с каждым мгновением их становилось больше, и я слышала — сквозь стекло, сквозь ночь, сквозь воду, — как они идут: не плеск вёсел, не скрип уключин, а ровный, могучий, как дыхание, шум воды, расступающейся перед стругами.

— Идёт, — прошептала я. — Идёт.

Я накинула бурку, сунула за пазуху оба талисмана — метку Вериги и печать Разина, — и выскользнула из терема через заднюю калитку, мимо спящих псов, мимо конюшен, к реке.

Пристань была пуста. Луна стояла над водой, и Волга лежала передо мной — огромная, серебряная, с дорожкой лунного света, ведущей к самому горизонту. И по этой дорожке — по стрежню, по самой середине реки, — шли струги.

Они были ещё далеко, но я видела их — чёрные, низкие, широкие, с косыми парусами, с огнями на мачтах, — и мне казалось, что я слышу, как они дышат, как они плывут, как они несут его ко мне.

А на носу первого струга — я не могла этого видеть, но я знала, я чувствовала, — стоял человек. Высокий, тёмный, смуглый, с чёрной бородой, с глазами, которые смотрели на воду так, как смотрят на ровный, знакомый путь. Он стоял недвижно, и вода под стругом была тихая, как парное молоко, и мне казалось, что он стоит не на палубе, а на самой воде — и вода его держит.

Он смотрел на меня. Я, стоя на пристани, смотрела на него.

И я поняла, что это — он. Что он пришёл. Что он идёт по воде, по стрежню, ко мне, как обещал.

— Слазь, девка, — сказал мне ветер, донёсший с реки его голос, низкий, тёплый, чуть хриплый. — Не бойся. Я не тону, и ты не утонешь. Пойдёшь со мной до конца воды. Пойдёшь?

И я, стоя на пристани, на кромке воды, над тёмным дном, с двумя талисманами за пазухой — меткой Вериги и печатью Разина, — я сделала шаг вперёд.

За моей спиной, в тереме, спал Верига. За моей спиной, в городе, спала Астрахань. А впереди, по стрежню, шёл он — Степан Тимофеевич Разин, атаман донской, человек, который ходит по воде, — и он звал меня к себе.

Я шагнула.

И вода под моими ногами — та самая, родная, которая вела меня всю жизнь, — раздалась и приняла меня, как принимает мать, и понесла, как несёт щепку по стрежню, к нему, к стругу, к чёрному парусу из моего сна, к началу всего, что должно было случиться.

Из-за острова на стрежень.

Он пришёл.

И я шла к нему.

***

Вода не обманула.

Я шла по стрежню — не плыла, не тонула, а шла, как ходят по сухому берегу, и вода держала меня, как держала всю жизнь, и я не удивлялась этому, потому что я знала: я — та, что не тонет. Я — дверь. Дверь не тонет. И вода несла меня к нему, к стругу, к чёрному парусу, как несёт щепку, как несёт письмо, как несёт всё, что ей доверено.

Струг вырос передо мной, как гора. Чёрный, низкий, широкий, он стоял на стрежне, едва покачиваясь, и от него пахло смолой, мокрым деревом, порохом и — той особой, горьковатой сыростью, что въедается в одежду тех, кто годами спит над водой. На палубе, у борта, стояли казаки — тёмные, бородатые, с саблями на поясах, — и все они, как один, смотрели на меня, и в глазах их был тот самый взгляд, который я видела на струге в день моего пленения: любопытный, почтительный, как будто они смотрели на вещь, про которую много слышали и наконец увидели.

— Та самая, что не тонет, — сказал кто-то негромко, и по рядам прошёл шепоток. — Атаманова.

— Цыц, — бросил знакомый голос, и стало тихо.

На носу струга, положив руку на саблю, стоял он — Степан Тимофеевич Разин. Высокий, тёмный, смуглый, с чёрной бородой, в алом кафтане, расшитом золотом, — и он смотрел на меня, и в глазах его, тёмных, тёплых, с той особой усмешкой, которую я уже знала, было что-то, чему я не находила названия. Не радость. Не удивление. А что-то древнее, глубокое, как вода, — узнавание.

— Ну, — сказал он, и голос его, низкий, тёплый, чуть хриплый, прокатился над водой, как гром. — Дошла. Дошла, девка. А я уж думал, придётся тебя из Астрахани выкрадывать.

А ты сама пришла. По воде. — Он усмехнулся, и от усмешки его, широкой, тёплой, у меня по спине пробежали мурашки. — Хороша. Хороша, девка. Атаманова жемчужина. Ну что, идём?

И он протянул мне руку.

Я взяла её — впервые с того дня, как он вытащил меня из лодки на этот самый борт, и я снова почувствовала его ладонь — сухую, сильную, тёмную от солнца, — и она была тёплой, как живая вода, и я сжала её, и он помог мне подняться на палубу, и я стояла перед ним, на струге, среди казаков, над тёмным дном, и смотрела ему в глаза.

— А ты не боишься меня, девка, — сказал он, и это не было вопросом.

— Боюсь, — сказала я. — Но не так, как боялась.

— А как?

— Как боятся воду, — сказала я. — Не потому, что она злая. А потому, что она сильная. И потому, что она ведёт.

Разин долго смотрел на меня, и в глазах его — тёмных, тёплых, с той особой искрой, что мерцала в них, как угли под золой, — промелькнуло что-то, чему я не нашла названия. Не злость. Не жалость. А что-то похожее на уважение.

— Умная, — сказал он наконец. — Вода любит умных, девка. Вода с умными говорит. А с дураками — только топит. Ты, стало быть, с ней говоришь?

— Говорю, — сказала я.

— И что она тебе говорит?

— Она говорит, — сказала я, и голос мой дрогнул, — она говорит: «Жди. Он придёт. Он идёт по стрежню».

Разин усмехнулся — широко, тепло, как усмехаются, когда слышат то, что давно знали, но приятно услышать снова:

— Ну, стало быть, вода не обманула. И я пришёл. — Он махнул рукой в сторону города, который темнел за нами, на берегу, огромный, глиняный, белый. — Астрахань, девка. Жемчужина. Что ты о ней скажешь?

Я долго молчала. Я смотрела на город — на белые стены, на башни, на спящие улицы, на дом воеводы, на клетушку Вериги, на окно, из которого я смотрела на Волгу столько ночей, — и я думала о том, что я оставляю за спиной, и о том, что ждёт впереди.

— Астрахань, — сказала я наконец, — это жемчужина на ладони. Но ладонь-то — чужая. И она закроется, если не закрыть её первой.

Разин посмотрел на меня — долго, внимательно, и в глазах его мелькнула та самая усмешка, которую я видела в день нашей первой встречи, когда мы оба стояли на палубе и смотрели на город:

— То-то и оно, девка. То-то и оно. Я за тем и иду. Чтобы ладонь эта — закрылась не на нашей шее, а на нашей стороне. Поняла?

— Поняла.

— Ну и ладно, — сказал Разин. — Тогда идём на Дон. Там вода чище, степь шире, и воли — столько, сколько хочешь возьми. А Астрахань, — он повернулся к городу и посмотрел на него долгим, тёмным взглядом, — а Астрахань пусть пока постоит. Пусть боярин Прозоровский спит спокойно. Мы ещё вернёмся. Мы всегда возвращаемся, девка. Вода возвращается.

Он повернулся, и я пошла за ним по палубе, мимо казаков, которые расступались, пропуская нас, и смотрели на меня с тем самым почтительным любопытством, и я чувствовала, как на груди у меня, под буркой, лежат два талисмана — метка Вериги и печать Разина, — и как они, оба, греются, как два живых сердца, спорят друг с другом, кто из них сильнее.

А за кормой, в темноте, текла Волга — огромная, молчаливая, — и в ней, на дне, ждал чёрный флот, и я знала, что он ждал не зря. Он ждал, когда дверь откроется. А я — я шла по палубе струга, мимо казаков, мимо смолёных бортов, мимо чёрного паруса из моего сна, —

и я чувствовала, что дверь во мне, та самая, которую я всю жизнь держала закрытой, — она начинает приоткрываться.

Не для дна. Не для Вериги. Не для мертвецов.

Для жизни.

— Приведи себе место, девка, — сказал Разин, не оборачиваясь. — На корме, под навесом. И спи. Завтра — большой день. Завтра пойдём на Дон, в волю. А там, глядишь, и до Астрахани доберёмся. Вода — она своё возьмёт.

Он исчез в носовой рубке, а я осталась стоять на палубе, под звёздами, над тёмной водой, и смотрела, как отчаливает струг, как остаётся за кормой Астрахань — белая, глиняная, спящая, — как гаснут её огни за поворотом, как начинается река, как начинается путь.

На корме меня ждал Иван.

Он сидел на банке, привалившись спиной к борту, строгал ножиком какую-то палочку, и когда я подошла, он поднял на меня глаза — серые, тёплые, с той самой светлой искрой, которая не гасла никогда, — и сказа

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.